

А. Остромиров

ОТ АВТОРА

Библиотеке бывшей
Руменцевского музея, а
ныне Социалистический музей
им. В. И. Ульянова - Ленина

Николай Федорович Федоров в дар
и
1932 год
октябрь

Современность

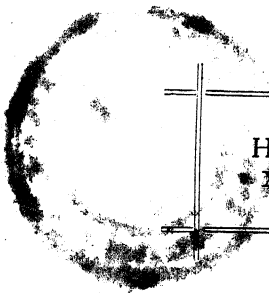
О ЧЕРКИ

Выпуск 3-й



№ 11-1329

ХАРБИН
1932



Типография
Н. А. ФРЕНКЕЛЯ
Харбин, Аптекарская ул.
Телефон 82-68.

Государственная
Библиотека
СССР
им. В. И. Ленина

60349-58



2007112430

Настоящим выпуском мы продолжаем издание, начатое еще в 1928 году, содержавшее в первом выпуске Биографию Н. Ф. Федорова, а во втором — статьи: „Прозективизм и борьба со смертью“ и „Богословие Общего Дела“. В нынешнем выпуске дана глава, носящая название „Организация Мироздействия“, в которой заключается рассмотрение вопроса о науке, искусстве и труде воскрешения.

Следующий выпуск, в котором должна быть помещена статья „Острые мирового кризиса“ — (Современная война и учение Н. Ф. Федорова о всеобщей повинности возвращения жизни), выйдет, по возможности, вслед за печатаемым ниже.

При суждении о материале, который приводится в настоящей книге, следует иметь в виду, что все в ней изложенное писалось в период между 1923 и 1928 годами. Современность наша по рассматриваемым вопросам может дать иллюстрации еще более яркие, чем приведенные в нашем издании.

Цитирование „Философии Общего Дела“ проведено в третьем выпуске также, как и в предыдущих: римская цифра обозначает том, арабская — страницу; книга В. А. Кожевникова цитируется сокращенно, обозначением: Кож. и арабской цифрой обозначающей страницу.

ОРГАНИЗАЦИЯ МИРОВОЗДЕЙСТВИЯ.

„Психофизиологическое восстановление отцов и предков“ о котором трактует „Философия Общего Дела“ невозможно без совокупного действия объединенного человечества, объединенных сынов, на мироздание во всей его совокупности. Никакой изоляцией сферы действия, никаким делением осязаемого, слышимого, зримого, воображаемого или представляемого мира на отдельные участки, разряды и планы здесь уже не обойдешься.

Давая картины возможных путей и способов воскресительной деятельности, Н. Ф. Федоров ни на минуту не забывает (как это обычно делают почти все, рассуждающие об этом предмете) о теснейшей связи между возвращением к жизни погибших поколений и расширением влияния человека в воздушном пространстве. Одно без другого для него немыслимо; для воскрешения недостаточно одного изучения молекулярного строения частиц: но так как они рассеяны в пространстве солнечной системы, может быть и других миров, их нужно еще собрать; следовательно, „вопрос о воскресении есть теллуру-солярный или даже теллуру-космический“...

Процесс воскрешения не может быть связан с городом в его современном состоянии, в его отрицании естественного пауперизма, зависимости от природы. Процесс воскрешения, поставленный как основа деятельности, связан с процессом не только восстановления жизни, но и с процессом сохранения ее т. е. с процессом питания. А этот последний неотрывен от вопроса о сельском хозяйстве и об обеспечении питания, т. е. об урожае.

„Сельское хозяйство, чтобы достигнуть обеспечения урожая, не может ограничиться пределами земли, ибо условия, от которых зависит урожай или вообще растительная и животная жизнь на земле не заключается только в ней самой. Весь метеорический процесс, от коего непосредственно зависит урожай или неурожай, весь теллуру-солярный процесс должен войти“ по мысли Н. Ф. Федорова, „в область сельского хозяйства“ (1,331). „Земля—это уединенный остров“, говорит он в другом месте, „уединенный потому, что сознание не установило и не раскрыло разумной связи между ним и тем миром, от которого он произошел, и которого он составляет обломок или больших, относительно, размеров, пузырек с отвердевшей оболочкой, о внутреннем состоянии и содержании которого разумные обитатели этого мира точно не знают, но чувствуют, что внутренняя сила в землетрясениях, извержениях стремится как бы прорвать эту оболочку и, следовательно, требует регуляции. Точно также требуют регуляции и воздушные слои, токи, которые, воспринимая силы солнца, проявляются в ураганах, ливнях, грозах. Ответственный же житель этого мира, хотя и хорошо знает непрочность своего жилища, хотя и наказывается разными невзгодами, бедствиями, недостатками, но о регуляции теллуру-метеорической не заботится и остается в полном подчинении среде“. (1,344).

Но будут спрашивать — соразмерны ли столь грандиозные задачи с силами человечества? „Какой смысл“, отвечает Федоров, „имеют слова о несообразности сил человека, т. е. природы, стремящейся к сознанию

и управлению, с силами той же природы, но как силы слепой? И что считать силой человеческой, непосредственную ли силу рук или же то, что может он сделать при посредстве сил природы?“. Обращаясь дальше к вопросу об атмосферической регуляции он замечает, что „настоящее, естественное дело еще не началось: так, весною вышедшего (1902 года) посредством змейкового аппарата была вызвана гроза, вызвана не намеренно, а совершенно случайно; почему же не вызывать гроз намеренно, почему не пользоваться в этих видах змейковым аппаратом везде и всегда по общему определенному плану? В этом то деле, в вызывании гроз, т. е. в управлении метеорическим процессом и могло бы состояться объединение всего рода человеческого“ (I,401). Так создается в проекции Федорова „новое небо“, небо, как поприще труда, а не праздного созерцания.

Все жители земли становятся небожителями. Все земное неотрывно от небесного, ибо земля есть небесное тело, согласно коперниканскому мировоззрению, и все звезды суть такие же земли, как и наша планета. „Для больного, утомленного воображения нет ничего страшнее вечности и бесконечной шири“. (I,548). Здесь причина того, что теория Коперника не получила практического приложения. Для неопровержимого доказательства движения земли, требуется управление ходом этого движения. Иначе теория остается непроверенной гипотезой. „Коперниканская система — предупреждает Федоров — не удержится в новом мировоззрении (как взгляд Пифагора не удержался в древнем), если не получит практического значения (II,405). *)

*) Можно отметить, что как раз в последние годы учащаются попытки низложить Коперника и „остановить“ землю на строго математических основаниях. В 1914 г. вышла в Лейпциге книга d-r Ern Bartel „Die Erde, als Totalebene. По мнению автора, земля не шар, и не эллипсоид, вообще не трехмерное тело, а целостная, замкнутая плоскость; „бездонно глубокий“ мир сводится к двум плоским параллельным тарелкам. Все это доказывается путем кропотливого анализа уравнений каждого из трех измерений. В недавно вышедшей книге П. Флоренского („О множествах в геометрии“ Москва 1922 г.) также находим категорическое отвержение гипотезы о движении земли в связи с неудачей опыта Майкельсона и Морлея и призыв к реабилитации Аристотеле-Птолемео-Дантовской системы мира с ее „хрустальным“ небесным сводом, „системы математически равноправной с Коперниканской, но имеющей преимущество здравого смысла и верности земле, земному подлинно достоверному опыту“. Впрочем, заговорив о „достоверности опыта“ автор „мнимостей“, как тонкий аналитик, дает себе полный отчет в „ап-перцептивных предусловиях“ того дуалистического Платоновского мировоззрения на основе которого он строит свои теоремы и философы. Оказывается все дело в ограниченности нашего (обычного, „больного, утомленного“) зрения бессильного сразу охватить всю овидь со всеми пространственными плоскостями, увязывая их в одно целое (как, например, в „Трех Свиданиях“ Вл. Соловьева: „Все видел я и все одно лишь было—единый образ“). Для П. А. Флоренского „сознание необходимо раздвоится между образом непосредственно зрительным и образом косвенно посредственно зрительным, данным чем-то вроде осязания. При этих условиях восприятия в сознании наличны два элемента, или два слоя элементов, — одворонных по своему содержанию, но существенно разнородных по своему положению в сознании, в этом смысле не координируемых и взаимно исключающих друг друга“. („О множествах“ стр. 59).

Нельзя лучше очертить психофизиологический корень Платоновского двоемирия, где цельность разорванного мировосприятия восстанавливается лишь при помощи (иллюзорного) представления о хрустальном своде на подобие окна, затанутого стеклом в современной архитектуре, т. е. по определению Флоренского „некоего лжеотверстия и лжеотены“. Птолемеовское „лженебо“ (в талмудических сказаниях остроумно символизируемое синим пологом расшитым блестящими — искусственными звездами, — простертом дочерью Фараона над брачным ложем Сомона введет к потере чувства космической реальности (чувства всегда неотрывного от преобразовательной-человеческой деятельности). Тогда остается лишь (как это и делает бесстрашный автор „мнимостей“), поставить знак полного равенства между прозрачным и призванным (проэком и иллюзией).

„Русь. Русь, что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе лине родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатирю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» Этот знаменитый вопрос Гоголя долго оставался без ответа, пока наконец родилась беспредельная мысль в другом русском уме. Н. Ф. Федоров указал, где развернуться „беззаветной отваге, удали, жажде самопожертвования, желанию новизны, приключений“, где использовать тот материал, из коего образовывались богатырство, аскеты, прокладывавшие пути (в северных лесах, казачество, беглые и т. п. Эти силы бушевавшие и бушующие в нашей жизни, требуют себе неминуемо выхода иначе неизбежны перевороты и всякого рода нестроения, потрясения. „Ширь русской земли способствует образованию подобных характеров, наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великих подвигов. Постепенно, веками образовавшийся предрассудок о недоступности небесного пространства не может быть, однако, назван изначальным“.

„Только переворот, порвавший всякое предание, отделивший людей мысли от людей дела, действия, может считаться началом этого предрассудка. Когда термины душевного мира имели чувственное значение (когда, напр., понимать значило брать), тогда такого предрассудка быть еще не могло. Если бы не были порваны традиции, то все исследования небесного пространства имели бы значение исследования путей, т. е. рекогносцировок, а изучение планет имело бы значение открытия новых „землиц“, по выработанию сибирских казаков, новых миров. Но в настоящее время, несмотря на рутину и предрассудки, при всех исследованиях подобного рода, даже при самых умственных, отвлеченных операциях, эта мысль о пользовании исследуемыми путями и мирами тайне присутствует в умах исследователей: человек не может отрешиться от себя, не может не относиться к себе всего и не ставить себя всюду... Если же такие экспедиции в исследуемые миры невозможны, то наука лишена всякой доказательности, не говоря уже о пустоте такой науки, низведенной на степень праздного любопытства, мы не имеем даже права утверждать, что небесное пространство имеет три *) а не два измерения“. (1,282-3).

Однако не случайно язык отказывается признать синонимичность прозрения и призрака. Не все прозрачно призрачно. Наоборот, можно утверждать, что во всяком призраке имеется какая-то непрозрачность, подстилающая фон хоотическая рябь, сумеречная мгла („фиалковая муть“). И лишь в случаях подлинного прозрения („отверзлись вешие веницы“) обличается обманность (мнимость) „цветка, что зовется ночью фиалкой“ (теневого „умбрического“ концепции мира).

*) Лишь совсем недавно эта мысль о необходимости и возможности экспедиции в исследуемые с помощью телескопов миры приобрела в науке право гражданства. Главная заслуга в этом деле принадлежит талантливому русскому изобретателю (и оригинальному мыслителю) К. Э. Циолковскому, публиковавшему с 1903 г. (год смерти Федорова) свои работы по вопросу о поднятии в космическое пространство с помощью прибора, подобного ракете. Инаяга свои строго математически обоснованные выводы Циолковский мечтал о том времени когда люди получат возможность „расселяться не только по лицу земли, но и по лицу всей вселенной“. В настоящее время рядом ученых и техников детально разработана проблема космического полета в теории и все серьезнее идут разговоры о практических опытах в этой области. Достаточно назвать имена Вебера, В. Гомана (Германия), Германа Оберта (Румыния), Роб. Годдарта и Дженкинса (Сев. Америка), инж. Цандера (Россия). Существуют общества и секции межпланетных сообщений при научных учреждениях. Тут уместно вспомнить, как в начале восьмидесятих годов прошлого столетия Л. Н. Толстой увлеченный перспективами „общего дела“ навел на учение Н. Ф. Федорова перед профессором М. М. Троицким и другими, высококвалифицированными учеными, членами Московского Пси-

Астрономии придает Федоров центральное значение: в грядущем синтезе наук и искусств ей принадлежит высшее место: она включает в себя все неестественно от нее отвлеченные и незаконно отдаленные науки, как-то физику и химию неорганического и органического вещества и пр. В этом отношении вся линия развития физических наук за последние три десятилетия преуказана Федоровым с точностью. Об электронном строении атома, как о чем то само собой разумеющемся, писал он еще в ту пору, когда идеи Крукса и Томсона считались смелыми парадоксами. Учение Миньковского о времени-пространстве, как неразъединимом, комплексном целом и вскрытая теорией относительности зависимость временной последовательности от положения наблюдателя в пространстве, от его движения, не были тайной для Федорова, хотя он и умер за несколько лет до обнаружения того и другого.

Так, например, в статье „Горизонтальное положение и вертикальное — смерть и жизнь“ — мы находим такие строки: „с движением человек открывает пространство; посредством одного зрения пространство не могло быть открыто: зримое есть только предполагаемое. Опытом, деятельностью узнал человек ширь; пространство, казавшееся близким, то, что как будто бы можно было охватить рукой, отодвигалось все дальше по мере движения“.

„Опытом, неудачными попытками, человек открыл дальность неба, дальность звезд, т. е. свою малость, ограниченность. Вся деятельность человека есть движение, далеко еще не оконченное, т. е. движение не достигло еще всего зримого и предполагаемое не стало еще осязаемым. Пространство и время, эти необходимые формы знания обуславливаются движением и действием. Пространство есть сознание пройденного, дополненного по пройденному представлением о том, что еще не пройдено. Время же — не только движение, но и действие, делающее возможным самое движение. Формы, так называемой, трансцендентальной эстетики (по Канту) не предшествуют следовательно опыту, а являются вместе с движением и действием“ (II, 261).

Значит только слабость действия делает эти формы путями, окозами для нас. Отсюда легко догадаться как реагировала бы мысль Федорова на теоремы Эйнштейна. Приветствуя теорию, он, несомненно, потребовал бы сейчас же соответственной практики, работы. В противном случае, теория останется опять лишь одним из мнений, гипотезой даже не рабочей, а так сказать безработной (метафизической) гипотезой; отвергая подобность в опытах подобных проделанному Майкельсоном и т. п., она сама пока еще не указывает достаточно широкой и прочной базы для новых опытов. И ясно, где можно найти окончательное обязательное подтверждение и проверку нового миропонимания: когда последовательная смена поколений будет заменена их существованием одновременным и однопространственным общением всех живущих, не вытесняющих друг друга из жизни, не выталкивающих из виду, тогда будет наглядно доказана вся относительность и условность времени.

Как же, однако, мыслится Федоровым самый приступ к общему делу человеческого рода по овладению небесным (атмосферическим и метеорическим) процессом? Эта тема проработана им очень тщательно:

хологического Общества, предлагая избрать Н. Ф. членом этого общества. В ответ на обычные возражения: как же уместятся на земле воскресенные поколения, Толстой ответил, что „это предусмотрено: царство знания и управления не ограничено землей“. Такой ответ вызвал по словам Буслая „неудержимый смех всех присутствующих“ (ср. А. Горностаев „Перед лицом смерти“ стр. 15). Немудрено, что Федоров со своими идеями остался в полной безвестности, а Толстой вскоре с гневным презрением отвернулся от науки.

не упущено из виду, кажется, ни одной возможности, ни одного предположения. В первую очередь для этого нужно добиться умения притягивать и распределять атмосферное электричество. Еще в начале XIX века известный Н. Н. Каразин проектировал поднятие громоотвода на привязанном аэростате в верхние слои воздуха в целях извлечения отсюда грозовой силы, что не осталось бы без влияния на образование облачных паров, а в дальнейшем и целых туч.

Ту же мысль впоследствии развивают Арраго, Бодуэн, Лодж и др. Далее, американские опыты в начале 90-х годов вызывания дождя с помощью взрывчатых веществ глубоко заинтересовали Федорова. Они совпали по времени с голодным годом в России (1891), и были приняты мыслителем, как первый „отрадный луч света для сидящих во тьме и сени смертной, известие, переворачивающее все, благая весть, что все средства, изобретенные для взаимного истребления, становятся средством спасения от голода и являега надежда, что разом будет положен конец и голоду и войне без разоружения, которое и невозможно“. (I,3). На множестве страниц автор „Философии Общего Дела“ набрасывает план нового вооружения, при котором „весь метеорический процесс земного шара будет регулируем, ветры и дожди обратятся в вентиляцию и ирригацию земного шара, как общего хозяйства“...

„От дождей и туч естественный переход к ливням падающих звезд, к дождям метеоритов“.

Мысли Н. Ф. Федорова представляется один из примеров „взаимного действия разумных существ в области мировых систем. Продолжая мысль Каразина, допустим, что электрические токи на земле получили определенные направления, посредством ли то телеграфных проволок, обвивших землю в виде спирали или другим каким либо способом, и земля, этот огромный сидеролит, естественный магнит, преобразилась в электромагнит, тогда область деятельности земли была бы усилена и расширена и мелкие сидериты и сидеролиты, облегающие, как полагают, земную орбиту и представляющиеся нам под видом зодиакального сияния под влиянием регулируемой силы земного магнетизма, могли бы быть подобно парам разрежаемы, сгущаемы и следовательно в свою очередь могли бы служить для регулирования солнечного лучеиспускания, и на увеличение массы земли, а также на образование колец, спиралей по пути движения земли или кругом солнца, могли бы служить как бы на созидание нового небесного свода, арок и таким образом мы могли бы управлять магнитною силою самого солнца“. (I,282).

Федоров требует от человечества исполнения основной библейской заповеди об „обладании“ землей. Обладание должно быть, конечно, управлением „ходом этого данного роду человеческому и неизвестно еще какой силой приводимого в движение небесного тела, или корабля данного роду человеческому, умеющему только истощать корабль, и не умеющему ни ремонтировать его, ни управлять его движением“ (II,314). „Наша задача (в конечном счете) сделать все земли небесными, т. е. управляемыми сознанием и волей. Мы должны быть небесными механиками, небесными физиками и пр.“ (I,293). Теперешний человек „крепостной земли, праздный пассажир, захребетник ее“. „Солнце изливает на землю волны силы, из коих растения делают запасы; на счет этих же запасов образуются движущиеся существа, и не только движущиеся, но и сознающие это движение и способные отделиться от земли. Сама природа как бы нарушает крепостное право. В человеке движение получает сознание, соединенное с понятием бесконечности, таким образом, следуя природе, задача человека есть безграничное перемещение. Су-

щество, одаренное движением, если оно исследует отдаленные миры, то, конечно, как этого цели движения, пространство же между ними—как пути к ним“. (1,331)*).

Все очередные задачи сегодняшнего дня истории сходятся в этом узле в непосредственном овладении солнечной энергией. „Регуляция метеорического процесса нужна не только для обеспечения урожая для земледелия, но и для замены каторжной подземной работы рудокопов, добывающих каменный уголь и железо, на которых основана вся современная промышленность; регуляция нужна для замены такого добывания, извлечением движущих сил непосредственно из атмосферных токов из солнечной силы, создавшей запасы угля, так как положение рудокопов столь тяжело, что забывать о них непростительно“. К солнечной силе „во всяком случае нужно будет обращаться, так как запас каменного угля все более и более истощается. Та же сила...произведет, надо полагать, переворот и в добывании железа в металлическом виде“.

Регуляция необходима также для соединения мануфактурного промысла с земледелием.. для обращения земледелия из индивидуального производства в коллективное, причем „регулятор будет общим орудием для обращения земледелия из средств получать „наибольший“ доход, ведущий к кризисам, к перепроизводству, в возможность получать „верный“ доход. Призыв к регуляции выходит таким образом отовсюду“. (1,31). Семейная исключительность, национальное обособление, территориальные границы, все это упадет, как карточные домики пред дуновением новой силы. „Семейная исключительность делается невозможной по причинам, так сказать, технического свойства, когда электрическая свеча заменит эти запасы силою получаемой не из искусственных батарей, а из атмосферы, из самой же земной планеты, как одного электромагнитного или магнитно-электрического аппарата, для управления которым нужно всеобщее и самое тесное единение, — тогда эпоха Агни, т. е, исключительности, кончится. Электрический ток, способный передавать голос, движение и т. п., не может быть лишен способности передавать и мускульные движения и физиологические явления, а также и психические, если они имеют физиологическое выражение. Мы не видим также причины, почему бы явления, совершающиеся в здоровом организме, не могли бы посредством передачи возвращать нормальное течение организмам заболевшим, патологическим. Такая то дивная сила будет в руках всех (подобно тому, как в настоящее время огонь), когда электрическая свеча загорится в сельской хижине“. (1,328). „Тогда лишь человек будет образован, когда не только небо будет кормить его, но и солнечная сила, проведенная во всех хижинах явится там в виде очага, домашнего солнца, освещающего, согревающего и создающего телесный организм его; тогда даже женский труд возвысится до знания мировых теллуру-соляных процессов“. (1,294). „При благоприятном разрешении вопроса о засухе и дожде, об управлении метеорическими явлениями и вообще силами природы глубоко изменяются все экономические условия нашего общественного строя, а вместе с тем радикально изменятся самые воззрения наши на общество, на природу, на самый разум и его

*) В статье В. Я. Брюсова „В гостях у Верхарна“ (Русская Мысль 1910,8) автор передает слова бельгийского поэта: „человек должен властвовать над стихиями: водой, огнем, воздухом. Даже должен научиться управлять самым земным шаром“. „К удивлению Верхарна — продолжает Брюсов, — я сообщил ему, что эту идею предвосхитил у него русский мыслитель, старец Федоров“. Не мало подобных удивлений приходится и придется еще слышать. Трудно отыскать на западе что либо творчески-новое, чего бы Федоров в свое время не предвидел или не предвосхитил.

пределы и изменения эти будут иметь самые благодетельные следствия“.
(1,266) *)

В конце концов наш опыт расширится до пределов опыта, обнимающего постепенно и всю землю и земли, т. е. планеты и обращающего весь этот материал на постройку, как собственного тела и тел своих отцов и предков. Отсюда, само собой определяется сущность того организма, который мы должны себе выработать. Этот организм есть единство знания и действия; питание этого организма есть сознательно-творческий процесс, обращения человеком элементарных космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани. Органами этого организма будут те орудия, посредством коих будет человек действовать на условия жизни растительной и животной. Органами его сделаются и те способы аэро—и аэрионавигационные, с помощью которых он будет перемещаться и добывать себе в пространстве вселенной материалы для построения своего организма. „Человек будет тогда носить в себе всю историю открытий: весь ход этого прогресса; в нем будет заключаться и физика и химия, словом, вся космология, только не в виде мысленного образа, а в виде космического аппарата, дающего ему возможность быть действительно космополитом, т. е.

*) В течение лет, отделяющих нас от года смерти Федорова, очерченные проблемы все более становятся предметом сосредоточенного размышления в Европе и Америке. Относящиеся сюда выводы отчетливо формулированы в таких, напр., словах известного физика Фр. Содди: „Законы физики и химии настолько тесно связаны с современными формами мышления, что недостаточная оценка их значения в прошлом не может служить извинением для тех, кто не отводит им первого места при рассмотрении вопросов будущего. Область приложения законов физики—вся вселенная и все, что в ней находится... Будет ли развитие цивилизации устойчивым или она в самой себе носит семена неизбежного разложения?.. Можно предвидеть такое время, когда наш грязный век угля будет казаться только началом господства над энергией, подобно тому, как палеолитический век представляется началом господства над материей. Такое будущее возможно, но его осуществление зависит всецело от человека и от того, может ли его знание вывзыситься до требуемого уровня... Царь уголь умрет естественной смертью с истощением его запасов... Он унесет с собой важнейшее средство для существования нашей гордой цивилизации. Прогресс обусловлен господством человека над природой, а вовсе не господством человека над человеком, или расы над расой, чему история отводит такое выдающееся место. Мы существуем собственно отбросами энергии. Наша современная цивилизация, даже с чисто физической стороны, не есть непрерывное устойчивое движение. Условия ее возникновения определяют период ее жизни и время ее упадка. Чем больше она поглощает, тем шире ее аппетиты. Она пожинает то, что не сеяла и расточает то, чего не собирала. Ее сырой материал — энергия, ее конечный продукт — знание. Но лишь один род знания может оправдать ее существование и отменить день расплаты. Это то знание, которое дает нам возможность увеличивать, а не еще более уменьшить накопленные средства. До сих пор успехи науки представляются чем то вроде успехов школьника. Этот период проходит... Предстоит полная захватывающего интереса борьба между наукой с одной стороны и истощением естественных запасов с другой. Наша планета живет, главным образом, получаемой ею лучистой энергией (солнца). Можно предположить, что с прямой утилизацией (не с косвенной, как теперь, через уголь и друг. виды топлива) солнечного тепла — сделается возможным неограниченное пользование энергией. Удача в этом деле уничтожит всякие границы прогресса и даст ему прочность, которых он не имеет теперь. Неудача повлечет за собой постепенное возвращение человечества к примитивным условиям и лишит его многого, если не всего, что отличает современную жизнь от жизни наших, не знавших науки, предков. Научно поставить задачу, значит на половину решить ее. И задача поставлена. Мы узнали, что препятствием будущему развитию является во всяком случае не бедность природы. Мир достаточно велик и богат, чтобы дать человеческим стремлениям все, о чем только можно мечтать“ (Содди, Материя и энергия, пер. К. А. Тимирязева стр. 2—3, 217—223). Подобного рода мысли с каждым годом все более становятся общим достоянием: но как плохо ваяются они с целым рядом мыслей другого сорта, все еще неоступно, навязчиво владеющих культурными умами!

быть последовательно всюду и человек будет тогда действительно просвещенным существом. Несмотря на такие, повидимому, изменения, в сущности, человек ничем не будет отличаться от того, что такое он ныне: он будет тогда больше самим собою, чем теперь; чем в настоящее время человек пассивно, тем же он будет тогда, но только активно; что в нем существует в настоящее время мысленно или в неопределенных лишь стремлениях, то будет тогда в нем действительно, явно; крылья души сделаются тогда телесными крыльями» (1,318) Вот что знаменует «первый взлет аэроплана в пустыни неизвестных сфер». Вот «за чем пропеллер, воя, режет туман холодный и пустой». Пересоздание земли невозможно без одновременного пересоздания неба. Оздоровление и пропитание человечества связано с космической регуляцией. «Нет смерти вечной (абсолютной), а уничтожение временной есть наше дело и наша задача». «Жить должно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех». «Об'единение всех живущих имеет целью работу над воскрешением всех умерших». Таковы — изблюбленные лозунги автора «Философии Общего Дела».

Регуляцию, управление, творческое обладание как норму истинного отношения человека к природе — всюду противопоставляет он современно-паразитическому «пользованию», «эксплоатации» истощающей природные ресурсы без уменья их накапливать и восстанавливать и требует превращения всего дарового в трудовое, бессознательного в сознательное.

Пересозданию физического мира соответствует столь же радикальное переустройство психики; точнее, как было выше показано, самая мысль о возможности действительного управления космосом возникает в человеке и становится определяющей его поведение силой лишь по мере происходящего в нем психологического переворота «обращения сердца сынов к отцам». Проблема новой психики столь же повелительно и неотложно встала на заре XIX и заре XX века, как и потребность наново возсоздать картину мира физического. Федоровым уделялось немало внимания вопросам психологического исследования взаимознания, ведущего к тому, что чужая душа (да и своя собственная) перестанет быть потемками и наружность не будет обманчива. Тогда станет возможным сближение людей по внутренним душевным свойствам, психическая группировка, классификация, «психический подбор». Параллельное изучение физиологических процессов, связанных с половым развитием, сделает, наконец, возможным превращение основной жизнетворческой (эротической) энергии, дробимой и распыляемой доселе на сексуальных путях и распутьях, в сознательную работу созидания (или восстановления) тела.

В этом пункте проектика «Философии Общего Дела», естественно, должна принять в свое русло одно из самых плодотворных научных движений нашего века: психоаналитическую школу Freud'a. Завоевания психоанализа огромны; раскопки душевных глубин, начаты специалистами клиник, мало по малу охватили все сферы человеческого мышления, творчества и обыденного жизненного поведения. Работа еще слишком далека от конца; последние выводы не сделаны — результаты наблюдений не вполне учтены и уяснены самими вождями школы. Но того, что уже добыто, что выкристаллизовалось за два десятка лет, более чем достаточно для узрения полнейшего тождества индукций психоанализа с парадоксальными (как могло казаться в свое время догадками и утверждениями Н. Ф. Федорова. Выслежены психические приемы, психические корни смерти: на множестве примеров показано —

как обычная, типичная, „нормальная“ смерть является бессознательным самоубийством. *)

Не такова ли психическая подолека всякой смерти? И что получится, если бы удалось изменить хотя бы только эту смертолюбивую направленность нашего подсознательного? В чем ее источник? Основы всех душевных движений и жизненных установок психоанализ ищет в психике раннего детства. Только у ребенка теплится здоровое, не ущемленное чувство жизни, совершенно неотделимое от понятия ее вечной восстанавливаемости, возгораемости, от идеи воскресения и воскрешения.

„В раннем возрасте ребенок отождествляет смерть с отсутствием. Он даже не может себе представить, чтобы человек, о смерти которого ему рассказывают, не вернулся-бы“. Остаток этого неистребимого детского чувства живет в сновидениях и взрослых людей.

„Если у кого-нибудь умер любимый родственник, то после этого ему долгое время снятся сны особого рода, в которых известный ему факт смерти умершего вступает в самые необыкновенные компромиссы с потребностью воскресить другого мертвеца. То случается так, что, хотя усопший и мертв, однако, продолжает жить, потому что он не знает, что он умер, а если бы узнал, то тогда бы умер окончательно; то он полумертв и полужив, и имеет признаки обоих этих состояний. Такие сны“ — замечает Freud, — „не следует называть совсем бессмысленными, потому что воскрешение из мертвых так же приемлемо в сновидениях, как например в сказках, где оно встречается, как самое обыкновенное явление... Желания вернуть умершего к жизни умудряются (в сновидении) добиваться этого самыми странными „способами“. **)

Для неиспорченного ребенка, для «евангельского дитяти» (как любил выражаться Федоров) — совершенно непредставим столь дикий абсурд, как смерть «окончательная». Чтобы вбить в голову это противоестественное понятие, требуется долголетнее давление «воспитания», оглушающий гипноз стада «взрослых и умных» людей, угнетающая пытка страхом, отчаянием и т. п. Наконец, мозг тупеет, робеет, не умеет додумать до конца ни одной мысли, забитый, замордованный человек покоряется бессмыслице, возводя ее в перл житейской мудрости: «сила солону ломит», «выше головы не прыгнешь», «плетью обуха не перешибешь» — и т. п.

Лишь немногие, единицы, тоже, большею частью все же, искалеченные разными «комплексам», но не сдавшиеся, удерживают в себе психику ребенка, его жадное любопытство к миру, полному, неизведанным и неисчерпаемым возможностям, продолжают мыслить и творить, искать и находить. Их пробуют заставить замолчать или затравить. Когда это не удается, их объявляют «гениями», а добытые ими откровения, найденные источники новых сил стараются свести на нет, приспособить их все к тому же безнадежному «жизню-бытью», подвластному «абсолютной» и «непобедимой» смерти. Массовые коллективные внушения (одним из главнейших видов коего служит воспитание), есть самый злоедейский фактор истории. Психоанализ дает право категорически утверждать, что лишь безконечные инфантильные травмы являются истинными источниками затормаживания деятельности человечества на путях

*) Как на прекрасный пример подобного анализа можно указать на работу К. Абрагама о Джовани Сегантини. Вообще, на психике художников, поэтов, деятелей искусства, дающих миру так много материала для освещения своего бессознательного, наиболее удобно вскрывать потаенные движения общечеловеческой психики.

***) S. Freud. „Лекции по введению в психоанализ“. Москва 1923 г. I.

творческого овладения природой. Если бы нашим детям оставялась хотя бы мысль о возможности реальной победы над распадом тела, иные подростки бы поколения. Вовсе даже не требуется и не всегда полезна обратная внушаемость, т. е., например, обязательная вера в победимость или принципиальную побежденность смерти. Достаточно было бы указания на проблематичность привычного факта, на нерешенность задачи, на то, что «взрослые» в этой области совсем не так много сделали и не так много знают, как это хочется или думается ребенку. Мнимые «взрослые» — лишь испорченные дети, не смеющие сами себе на яву признаться в правоте элементарного требования родственного чувства, дающего о себе знать в их же сновидениях.

Психоанализ, в лице его основателя и творца Freud'a очень долго ограничивал себя методологией научного исследования, не претендуя дать всеобъемлющую картину душевной жизни. Поскольку все же такая картина намечалась и напрашивалась, как итог изучения отдельных сфер и слоев психики, многие из приверженцев и противников Freud'a готовы были характеризовать его мировоззрение как пансексуализм. В настоящее время это вульгарное истолкование психоаналитической концепции (хотя и распространенное в широкой публике) должно быть оставлено: оно не имеет под собой ни малейшей почвы.

Последние работы Freud'a сделали окончательно то, что для умеющих мыслить не вызывало сомнений и ранее: «сексуальность есть вовсе не первичный и не всеобъемлющий фактор психической жизни. Самый раскол, разделение полов, есть дело вторичное и производное, возникающее в результате противоборственного смешения влечений жизни (Эроса) с влечениями смерти (Антероса)». Автору «теории сексуально-го влечения» нужно было стать «по ту сторону принципа наслаждения», чтобы крепко опереться в аксиому, впервые выведенную автором «Философии Общего Дела»: «вопрос о силе, заставляющей два пола соединяться в одну плоть для перехода в третье существо посредством рождения — есть вопрос о смерти». (1, 9).

Разумеется, психоанализу в его нынешнем виде еще слишком далеко до синтетической проектики воскрешения, воспроизведения жизни, «как огонь от огня». Однако, уже и сейчас, если не рядовые работники психоанализа, то сам гениальный вождь их вынуждается порой задуматься над будущим культурного человечества. С точки зрения вскрытой анализом борьбы психических и органических сил — это будущее представляется ему не в очень радужном свете. Импульсы деторождения изсыкают и будут изсыкать по мере роста культуры. Всякого рода сублимации полового влечения, накопляя безконечные культурные ценности, не обеспечивают, однако, сохранения самой жизни и не создали совсем ничего похожего, хотя бы на те примитивные и расточительные способы пересадки жизнзаряженных клеток на новую почву, какие выработанны практикой размножения животно-растительного мира. В дисгармонии коренных влечений человеческого организма Freud склонен усматривать безъисходное противоречие почти биологического свойства.

«Половое влечение распадается на слишком большое число компонентов. Здесь и копрофильные части влечения, которые оказались не совместимыми с нашей эстетической культурой, вероятно, с тех пор, как мы, благодаря вертикальному положению при ходьбе, удалили наш орган обоняния от поверхности земли... Здесь и «значительная часть садических импульсов», без коих теряет смысл половое удовлетворение. «Все это слишком тесно и неразрывно связано с сексуальным». Приходится, быть может, примириться с мыслью, что равновесие между тре-

бованиями полового влечения и культуры вообще невозможно, что невозможно устранить лишения отказа и страдания, как и обратно невозможно освободиться от опасности прекращения в отдаленном будущем всего человеческого рода, в силу его культурного развития... «Цель науки ни пугать, ни утешать», — оговаривается основатель психоанализа — и скромно добавляет: «я и сам готов допустить, что такое общее заключение следует построить на более широком основании и что может быть некоторые направления в развитии человечества могут помочь исправить указанные нами в изолированном виде последствия». *)

Безнадежны, однако, будут поиски более широкого и прочного основания, более верного и прямого направления в развитии человечества, нежели то, какое указано великим русским мыслителем, предвосхитившим открытия венской психологической школы. Выводя все психические и психо-физиологические свойства и особенности человека, по сравнению с животными видами, из принятого им вертикального положения, Федоров постоянно указывает на несоответствие между этим положением и животным способом размножения. Например, приведя слова автора „Записок врача“ Вересаева: „органы человека и их размещение до сих пор не приспособились к вертикальному положению и особенно у женщины: смещение матки — очень частая болезнь. Между тем, многие из этих смещений совсем не имели бы места, если бы женщина ходила на четвереньках“ — Федоров заключает „таким образом, можно сказать, что процесс рождения несвойствен существу, принявшему вертикальное положение“. (II, 267).

Овладение бессознательным для Freud'a обозначает прекращение процесса вытеснения. Федоров тому же термину „вытеснение“ дает лишь более широкое содержание, определяя самый способ нынешней жизни, как вытеснение младшими поколениями старших, детьми — родителей. Вытесняя, выталкивая отцов из жизни внешней, физической, а их образы из жизни внутренней, психической, сыновья тем самым уродуют, калечат, раздваивают свою психику и, конечно, оказываются не в силах сохранить и своей жизни. Поворот сердец сынов к отцам, как бы он ни был по внешности скромен и незаметен, будет событием космического значения. Необразимы его следствия в плане религиозно-художественном, научном и трудовом.

Область разрабатываемая психоанализом и смежными течениями мысли находится как раз в той сфере, где новая наука граничит с новым искусством.

*) Freud. Очерки по психологии сексуальности. Москва, 1924 г. стр. 96. Здесь уместно будет привести следующие слова одной из последних работ Freud'a, которые его биограф называет „надгробным словом у могилы дочери“ (умершей незадолго перед тем): „Если мы сами должны умереть и до того пережить смерть самых любимых людей, то нам приятнее погибнуть вследствие подчинения неумолимому закону, суровой *αναγκη*, чем случаю, которого быть может возможно было бы еще избежать. Но эта вера во внутреннюю закономерность смерти возможно тоже есть одна из иллюзий, созданных нами, чтобы выносить тяжесть существования“. — „Законы“ природы вообще, „что дышло, куда повернешь туда и вышло“, но мы почему-то не смеем повернуть его в свою пользу: нам приятнее иметь дело с „суровой *αναγκη*“; нам ничего не остается как лелеять эту „иллюзию“, — не то было бы слишком тяжело и стыдно переживать умерших, любимых людей, для оживления которых мы пальцем о палец не ударили. Бессознательная солидарность с погибшими не позволяет мысли останавливаться на случайности факта смерти и возможности избежать его; психический механизм довольно примитивной конструкции (логически представляющий собой *circulus vitiosus*), но тем более навязчивый, как и все в сфере бессознательного.

Общепринятым стало утверждение о кризисе, переживаемом искусством нашей эпохи. С одной стороны, говорят о гипертрофии искусства, с другой ставится вопрос о его смысле и цели, о надобности его в современном обществе, о роли его в производстве и т. д. Эпоха торжествующего символизма была как будто последней вспышкой художественного энтузиазма, огромных, хотя и смутных, жизнетворческих замыслов и заданий. Всего этого хватило не надолго. С момента разложения и упадка символизма художник сам глубоко усомнился в праве своем на существование*).

В Западной Фаустовской культуре роль художника кончена, утверждает Шпенглер, и ему остается лишь добровольно и радостно уступить свое место инженеру, технологу, механику.

„Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да я и сам здесь никому не нужен!“.

Восклицает самый певучий и пленительный из молодых русских поэтов наших дней, кошмарным самоистреблением удостоверяя искренность своего заявления (С. Есенин). Зачем творить, к чему петь? Все равно „не разбудишь ты своим напевом дедовских могил“, „не изменят лик земли напевы, не стряхнут листа“. Конечно, в старину как выше указано отпевание имело другой смысл, но поскольку этот смысл утрачен, из жизни улетучивается всякая напевность, всякая лирическая возбудимость. Без ясного же смысла, без твердо поставленной цели искусство не имеет шансов выжить в наступившую эпоху. Общепринятые эстетические теории то снижают значение искусства до игры, до забавы, праздного развлечения („искусства для искусства“), то закабаляют его на служение внешним и чуждым, отнюдь не восхищающим и не вдохновляющим подлинных художников целям. Связь искусства с эротическим возбуждением, с космическим расширением существа, стремление его к воспроизведению органической жизни иными путями нежели пути бессознательной животности все это совсем игнорируется или затеняется господствующими теориями. Естественно, что «Философия Общего Дела» вопросам эстетики отводит подобающее место. Так, в большой статье II тома «Искусство, его смысл и значение» Н. Ф. Федоровым детально разобраны теории Канта-Шиллера-Спенсера о происхождении искусства из игры и борьбы и критически оценены перспективы эстетики будущего у Гюйо и других.

„Стремление искусства воспроизводить жизнь до того очевидно, что едва-ли возможно серьезно оспаривать, что главное, направляющее значение в искусстве заключается именно в этом стремлении. Но как могло явиться такое стремление, если искусство есть только игра, источник же игры—борьба? Ни путем эволюции, ни каким либо иным нет возможности объяснить происхождение стремления давать жизнь из борьбы, так как борьба, очевидно, питает настроения совершенно противоположные этому чувству“.

*) Так называемый „кризис символизма, обозначившийся в России с 1910—11 г.г., был тогда же наиболее чуткими художниками осознан, как перелом всей культуры: искусство не сумело, не смогло (не захотело?) повести за собой широкие слои общества. Стало ясно, что оборванную линию культурного развития придется начинать в другом месте с другим людским материалом, — начинать, вероятно, сначала от „печного горшка“. А. А. Блок под 22 марта 1913 года записал в своем дневнике (недавно опубликованном): „по всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отраднo, но и тяжело также. Люди перестают притворяться будто „понимают символизм“ и любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем катанкомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения — полное равнодушие“.

После подобного обозрения памятников древне-египетского искусства, тесно связанного с погребальными обрядами (как и у всех древних народов), Федоров заключает: „только в то время, когда изображению, образу придавали реальное значение и вместе с тем, когда человек ставил своей задачей созидание тела умершим, поддержание их жизни, тогда только и могло быть заложено в искусство стремление к воспроизведению жизни, к созиданию, стремление, которым искусство живет и поныне, да и не может утратить его без потери своего серьезного значения. Это стремление есть лучшее доказательство, что источником искусства не была борьба, что оно также и не игра, что источник его нужно искать в любви к умершим“. (II, 237).

Следующее определение имеется в неизданной переписке Н. Ф. Федорова среди писем, которые должны войти в III том «Философии Общего Дела»: „искусство по существу своему есть осуществление всеми способами какими только могут располагать сыны и дочери человеческие в их совокупности, осуществление того чаяния или желания, которое возбуждается под влиянием самого сильного чувства, какое только могут испытать люди, под влиянием чувства, вызываемого смертью близких людей“.

Если все виды религиозного культа продиктованы стремлением к воскрешению, то и вытекшие из них свободно продолжающие и раздвигающие сферу их действия виды отдельных искусств стремятся к восстановлению жизни, но в смысле ложном или в степени несовершенной. Так, скульптура восстанавливает по нравственной (родственной или сыновней) необходимости то, что скрыто под землей по необходимости физической. Но бывшее и жившее скульптура восстанавливает в формах еще не одолевших слепую стихийную необходимость, в формах еще мертвых, окоченелых, недвижимых.

Живопись восстанавливает световую и теневую сторону жившего и его внешние очертания. Но черты и краски живописи, как и формы скульптуры, неподвижны, ограничены пределами одного только момента, краски светят, но не греют, и вся живопись только очерк, абрис, „опись жизни, безконечно далекая“ от живого биения действительности, от самой жизни.

Музыка, наоборот, всецело отдается миру внутренних эмоций и переживаний, но при всей своей задушевности, она, именно, по причине своей безтелесности, теряется в неопределенности частных и в расплывчатости общих настроений. Это нечто действительно задушевное, уже за пределами души, а не в ней самой непосредственно звучащее, это не самые звуки, а лишь отзвуки переживаемого и пережитого, передающееся искусственными средствами через искусственно же устанавливаемую среду.

Наконец, драма восстанавливает бывшее и жившее уже не только в пластичной и красочной полноте форм, но и в движении, не подлинном, однако, а подложном; „она выводит на сцену не под землей скрытого, не умершего, она только заставляет живущего „лицедея“, т. е. — „лишь по виду деятеля“ — (по правильному древне-русскому определению), а не настоящего деятеля („актера“) — надевать маску умершего“. (II, 153).

Безсилie и несовершенство отдельных искусств заставляло выдающихся художников строить планы их соединения. Касаясь проблемы синтеза искусств, Федоров наглядно показывает в чем „ошибка Шопенгауера, Р. Вагнера и их преемника Ницше, соединивших все средства для увлекательного изображения гибели рода человеческого, а не для спасения его от погибели“.

Трагический синтез есть наследие отчаянно-оргастических культов древности, где воскрешение мыслится лишь в виде „одержания предками потомков“. Трагедия возникает „из духа музыки“, диссонирующей, нестройной, не достроенной, не нашедшей своего завершения в архитектуре. Такой зодческий, архитектурный синтез, конечно, и немислим без прояснения в сознании христианского, православного, литургического плана всеобщего спасения. Культ агнца в литургии исключает надобность культа козла в трагедии.

„Должны ли все искусства соединяться в трагедии, как изображении гибели мира, или же все искусства должны соединяться в архитектуре, как проекте мира, все погибшее воскрешающего, через все знания об'единенного в астрономии? (II, 151).

«Музыкальная драма» Вагнера требует об'единения искусств в «иллюзии, да и все дело человеческое сводит на иллюзию же... «весь театр, ее вмещающий, остается лишь внешним вместилищем этого механического сочетания искусств, участия в действии он не принимает». Иное дело высшее проявление художественной архитектуры — храм: он «зовет все искусства к одухотворению, оживлению, не к подобию живого и жившего, а к действительному воссозданию жизни во всей ее полноте, красоте и силе». Зачаток атмосферической музыки, колокольный звон, как бы стремится расширить еще несовершенную, тесную и косную архитектурную форму храма, усовершенствовать, завершить ее, распространить на весь космос.

Все, что до сих пор именовалось архитектурой, с точки зрения Федорова, лишь крохотные начатки, робкая проба того, что может и должно быть. Архитектура орудует с силой тяжести, ее задачи до сих пор сводились к переворачиванию тяжелых глыб, к приданию грузным неорганическим массам подобия стройности и жизни организмов.

Зодчество будущего должно иметь дело не только с камнями и металлом, но с атмосферическими токами — с электричеством и эфиром, с магнитными полями. Сила тяготения современной физики сведена к магнетизму, тем самым вся «тяга земная» отдается в распоряжение новых космических зодчих. Сооружение магнитных столбов и арок, искусственных полярных сияний и т. п. в конце концов управления движением земли и планет — явится естественным следствием атмосферической и метеорологической регуляции. Сама эта регуляция и немислима без гармонизации воздушных волн (атмосферической музыки), что будет вместе с тем и гармонизацией общечеловеческой психики.

Связь «настроения» с «погодой» с течениями воздушных волн не нуждается в доказательствах. Образы темной, обольщающей и угнетающей душу силы не даром именуются в Св. Писании «князьями власти воздушной». Борьба со злом психически всегда есть борьба за власть в воздухе. Но подлинной властью можно назвать лишь гармонизацию хаотических воздушных волн. Такая гармонизация дана во всяком «лирическом», (т. е. стройном, построенном) волнении, в каждом творческом возбуждении художника. Однако, оно не продолжительно и не устойчиво. Космическое зодчество мыслится, как упругая, не затихающая, не заглушающая, неразрушающая музыка, как движущиеся прозрачные, но отнюдь не «призрачные» стены и своды магнитных полей. В открываемые ими ясные просторы каждому организму дается возможность «излиться, наконец, свободным проявлением».

Мы не станем подробнее останавливаться на перспективах, открываемых для человечества литургически понятным синтезом искусств. В сравнении с сегодняшней жалкой действительностью все это легко может людям, далеким от художественного мировосприятия, показаться

фантастическим, беспомощным и бесполезным бредом. О такой высоте и широте, какая дана вопросам эстетики в «Философии Общего Дела», никогда не смели даже мечтать самые отважные творцы и теоретики в этой области. Искусство, по мысли Федорова, есть «именно то, что организует и упорядочивает науку». Художественно-творческая деятельность (координация образов) есть начало и конец — предпосылка и проверка деятельности научно-исследовательской (координации чисел), как последняя в свою очередь организует и упорядочивает деятельность хозяйственно-трудовую (координацию усилий).

„Наука доказывается искусством“ и коперниканская астрономия, вмещающая все науки, „доказывается небесной архитектурой, обнимающей все искусства, основанные на небесных механике, физике, химии, физиологии, антропологии и всей истории“ (II, 348). Заветная цель всякого ученика (ученого) стать мастером (искусником, художником). Всякое искусство имеет свою учебу, свою технику.

Но технику (науку) современных разрозненных видов искусств можно назвать, по большей части, искусственно-научной, т. е. условной, нарочно выдуманной. Техника же естественно-научная доселе еще не находит путей к переходу в искусство. Изобретателей, напр., мы не можем все же назвать художниками. Однако, они нечто уже большее, чем просто ученый, это подмастерья, но еще не мастера. Значит современная наука, возникшая на развалинах средневековой из коперниканского мировоззрения, еще не достигла степени искусства, она еще должна быть доказана и оправдана соответственным ей коперниканским мировоздействием. Все, чему усваивалось имя нового искусства, есть в той или иной степени реакция человеческого духа на картину мироздания, открывшуюся Копернику и его продолжателям.

В этом смысле Эдгар По, изложивший свою теорию космического строя в трактате «Эврика», был, оказывается, отцом «нового» искусства. «Эдгар По» писал в своих заметках А. Блок — «подземное течение в России»; потому подземное, что в надземном все еще продолжают попытки художников поворотить оглобли к Птолемеевски-Платоновскому двумирию, к вечному разделению земли и неба. Являлись даже покушения оправдать этот дуализм научно, сведя теорию Коперника на роль недоказуемой практически, непроверенной и не могущей быть проверенной гипотезы.

Все это не спасает «старого» искусства. Пред ним встает неотвратимый выбор: либо признать себя иллюзией, опьянением, родом наркоза, «возвышающим обманом» (мнимо и кратковременно возвышающим), либо всецело стать чертежом, проектом, пробой, черновым наброском, упражнением, подготовкой, прощупью путей к настоящему, подлинно-творческому, реально преобразующему мир, перестраивающему небо, искусству. Повидимому, уже сейчас дело стоит так, что отныне всякое, сколько-нибудь, крупное явление, даже в области отдельного искусства, тем более всякая серьезная попытка художественного синтеза, не может не привлечь во внимание перспектив, развернутых мыслью Н. Ф. Федорова. Тут чрезвычайно показательны некоторые пути русского искусства. Эстетические теории Вл. Соловьева, как и все его творчество 80-х годов прошлого столетия, испытали на себе мощное влияние этих мыслей. В свою очередь все, что создано ценного и прочного в новом русском символизме, тесно связано с Вл. Соловьевым, а через него с Федоровым. Непосредственное влияние Федорова могло сказаться здесь лишь несколько позже, с посмертным обнаружением его книг. Андрей Белый в своих воспоминаниях о Блоке, говоря о конкретизации „Звука зари“ нового века, свидетельствует: „все

искания и воплощения возникали проблемою связи Владимира Соловьева и Федорова с философией русской общественной мысли". Следующая стадия — предвидит он, — „будет соединение философии Федорова с углубленную проблемой народничества, воскресения народного коллектива, как хора, оркестра“... *)

В грандиозных замыслах Скрябина ярко сказалось миротворчески преобразовательная устремленность русского художественного гения. Нет сомнения, создатель «Экстаза», «Прометей» и «Предварительного действия» сам себе, как засвидетельствовали его друзья и исследователи, „далеко не полностью уяснил все детали“ — той центральной мысли, того основного проекта, из которого рождались все без исключения его гениальные произведения. Идея „вселенской мистерии“ для него осталась в тумане, формы ее осуществления рисовались то в трагическом, то в литургическом аспекте. Во всяком случае какой то сдвиг, порыв от хаотически-срывчатого «духа музыки» к принципам космического зодчества, к завершительному строю и своду здесь был на лицо. «Он мечтал о безумии» — писал на другой день после смерти Скрябина Л. Сабанеев, — «о колоколах, которые будут звучать с неба, призывая к шествию в страну чудес, о симфониях ароматов, о движущихся архитектурах из столбов кадильных фимиамов. Но, чем дальше, тем труднее ему становилось справляться с охватывающим его потоком образов». Справиться можно было лишь при достаточно четкой целевой установке, которую способна дать искусству религиозная осознанность, подобная той, какую мы имеем в «Философии Общего Дела».

С другой стороны, вдохновенно-художественному синтезу Скрябина не доставало трезвого технического расчета, анализа, понимания свойств всего того материала, с которым он замыслил справиться. Проект мистерии был совершенно оторван от естественно научной базы. Совершить в одиночку или небольшой группой дело гармонизации всей атмосферы планеты, не говоря уже трансформации космической среды — такая мечта не может нам не казаться безумием.

Скрябин не переваривал театра, отварачивался от театрального синтеза искусств, осуществленного Вольтером. Он хотел расширить на весь космос то, что совершается во храме. Колокола, звучащие с неба, столбы кадильных фимиамов, все это — элементы хромового культа. «Движущаяся архитектура» задана художнику существованием храма, но осуществление задания, по смыслу культовой традиции, должно быть делом мощного, всенародного коллектива (хора, оркестра), орудующего при помощи всех инструментов, какие только находятся в распоряжении инженерии и техники. Так лишь можно понять апокалиптический образ гуслистов, стоящих на огнестеклянном море и поющих новую песнь пред престолом Божиим и ликом Агнца.

«Обозревая колоссальный прогресс техники», — писал проф. Н. А. Умов, — «следует допустить, что в будущем он доведет машины до такой степени утонченности, что управление машиной все более будет приближаться к типу искусства, напр., к исполнению музыкальной песни. Как подобное исполнение, не режущее ухо, доступно не всякому, так и управление машиной. Требование все больших и больших способностей, не только умственных, но и чисто индивидуальных, в уходе за совершенствующейся машиной будет все более и более оттеснять от произ-

*) Эпопея. Литературный Ежемесячник под редакцией А. Белого, Москва — Берлин, Геликон, 1922, № 2, стр. 119

водства людей автоматов, оставляя в их распоряжение лишь грубые крохи этого производства». *)

Слишком понятно почему (как это и рисуется откровением Иоанна) не все сразу смогут научиться новой песне. Утонченные, одухотворенные машины (музыкальные инструменты) сливаются с телом, становятся его продолжением, органом: тем самым омашиненные, механизированные люди, приспособившие себя к устаревшим и более ненужным „бездушным“ машинам прежнего типа живое мясо промышленной цивилизации („царство зверя“). Такие люди окажутся трагически оставшими от производственного процесса, как скоро производство начнет сливаться с творчеством. Во избежание подобной отсталости, грозящей человечеству катастрофическими срывами на всех путях, широкие слои, трудящиеся люди, должны быть, по плану Федорова, заблаговременно вовлечены в сферу активной научной работы: „все должны стать познающими“ — это минимум, при котором возможно их участие в „литургии оглашенных“. Вот почему таинственная (не проясненная пока во всех деталях) вселенская мистерия — эта внехрамовая „литургия верных“ доступна покуда лишь обостренной психике сравнительно немногих художественно-восприимчивых и творчески заряженных людей — лишается евоей почвы (огнестеклянного моря!) без предварительного всеобщего научения и оглашения всех.

Смутные порывы и грезы Скрябина могут быть всецело поняты и прояснены лишь на фоне учения Федорова. Самому композитору это учение осталось неизвестным. Но тот, кто попытается разобраться в его духовном наследстве, должен будет проделать здесь большую работу сличения. Она уже начата исследователями Скрябина. Игорь Глебов сопоставил Скрябинский замысел с тем, чего требовал от строителя художника Н. Ф. Федоров. В недавней большой книге о Скрябине Б. Ф. Шлецера автор с особым вниманием останавливается на проектах «Философии Общего Дела».

Мы должны упомянуть еще об одном, совсем уже недавнем, крупном явлении русского искусства, находящегося уже в непосредственной зависимости и теснейшей связи с этими проектами. Это творчество умершего в 1922 г. живописца В. Н. Чекрыгина. Посмертная выставка его произведений, открытая в 1923 году в Москве Цветковской художественной галлерей, вызвала единодушное восторженное изумление. Динамическая, синтетическая цельность художника поставила его вне всяких сравнений с тем, что дает современная живопись. Приведем отрывки из характеристики Чекрыгина, сделанной профессором А. Бакушинским:

„На увылом небосклоне нашего современного искусства, бессильного, неталантливое, безнадежно поверхностного и аналитического, как-то неожиданно и чудесно появилась яркая звезда первой величины. Ее увидела пока лишь немногие, увидели случайно, если можно говорить об эмпирической случайности, попав под ее чудесное излучение, увидели в тот момент, когда особо остро все мы, мучительно любящие нашу родную культуру, с тяжким чувством в душе созерцаем ее падение, обмеление, увядание ее, цвета нашего искусства.

„Но случайного по существу нет. Нам так необходим таинственный знак залог будущего возрождения, будущего подъема нашего творческого духа, предощущение радостного слияния разрешенных и примиренных противоречий всей нашей жизни после трагического перелома протекающих дней. И этот знак дан. Яркий свет озарил наши

*) Проф. Н. А. Умов. „Собрание Сочинений“, т. III, стр. 625.

души. Но источник света скрылся так же таинственно и необычайно, как и появился. У нас остались лишь его излучения—то, что художественно оформилось и родилось за этот короткий — слишком короткий путь. И мы не знаем, сможет ли даже современность принять, впитать в себя и претворить в собственном творческом процессе то величайшее богатство, которое раскрылось перед ней. Не предназначено ли оно для «какого-то еще незримого будущего?» Очертив личность молодого художника, при жизни умевшего, сосредоточась, уйти в себя и скрыться от шума известности, на которую он имел все права, критик характеризует его «творческий лик, странно и властно волнующий», настолько он раскрылся в огромном числе рисунков, эскизов, создаваемых «для себя»...

«Это — фрагменты титанического замысла, такого же неожиданного и немислимого, для современного художественного бессилия, измельчания творческой воли, как все что делал этот исключительный человек. Почти все это — предощущения и видения живописного изображения Воскресения Мертвых“.

«Величественная тема самого таинственного и страшного момента мировой истории в его разрешении победы новой плоти над силой смерти глубоко волновала художника последние годы его жизни. Его рисунки, эскизы, сотни чудесных ликов, позволяющих нам созерцать становящееся чудо. С первых же впечатлений вы во власти видения. Первые моменты инстинктивной самозащиты. Вы хотите уйти, оторваться. Вам тяжело, не по земному тяжело. И — не можете. Без конца, долгими часами, в растущем душевном напряжении, вы погружаетесь в особый, жутко и глубоко волнующий мир. Он весь дематериализован, весь в светящемся тумане, прорванном ритмическими интервалами — сгустками тьмы. В этой первичной космической туманности, как в видении Иезекииля, формируется плоть воскресающая. То черной резкой тенью, то четкой суровой и простой линией, художник дает ей явную телесную пластическую осязательность. Провалы глазниц в черепахах, проступающих в световом мерцании, заполняются взором, становятся зрячими, полными познания реальности собственного воскресения в глубине и силе душевной муки и радости“.

«Это внизу. Это в начале акта. Дальше и выше просветленная плоть, но не менее реальная, не менее пластически осязаемая в легком и гибком движении тел, всегда направленном вверх, обычно по ясным и строгим вертикалям... Еще выше растворение плоти в свете, в трепещущей радости последнего освобождения. Вся эта органическая цельность замысла сковывает и его фрагменты в поразительно крепкое и живое целое. Это целое покоряет и захватывает всей совокупностью имеющихся у художников средств. Здесь нет различия между «что» и «как». Перед нами единое и неделимое живое существо — изумительно полно живущее в целом и в каждом из фрагментов, представляющем вполне законченный мир, целостный образ*)».

Тот же автор, по поводу выставки картин Чекрыгина, писал о формальной стороне его творчества: «русское по своему внутреннему содержанию и строю, по крайней обостренности в силе духовного напряжения, по контрастам эмоций — оно далеко выходит за пределы национальной традиции по характеру своей художественной формы. Эта форма имеет непосредственную органическую связь с вершинами мирового искусства, преимущественно западного. Ее можно воспринимать и

*) А. Бакушинский. „На пути к великому искусству“. „Жизнь“, литер. худож. журнал. Москва. 1922. № 3. стр. 132—134.

понимать только в линии таких сопоставлений. Византийская и древнерусская фреска, мозаика, рядом с нею, вот те вечные спутники, которые твердо и вне временных увлечений были избраны Василием Николаевичем. Ясно и мощно влияние Гойя, Греко и Рембрандта. Французское искусство, во главе с самым ценным В. Н. мастером Сезаном, — не подчинило себе Василия Чекрыгина. В нем всегда оставалось к французам большая доля критического отношения“.

«По такой же касательной к сущности его художественной природы прошли воздействия кубо-футуризма и течений из него производных... По своему качеству большинство произведений В. Н. — чистое выражение наиболее интуитивного, непосредственного в своих истоках, творческого акта. Отсюда их внутренняя закономерность, оправданность, прочная связь с самыми интимными и в то же время общезначимыми переживаниями-видениями творческого первообраза. Им найдена сразу и непосредственно таинственная формула взаимоотношения личного и общечеловеческого, вселенского. Художник ушел от нас... Его творческий облик одинок. У него нет ближайших предшественников. Вряд ли будут последователи. Но значение его художественного подвига огромно. Искусство Чекрыгина зовет нас к великому монументальному выражению всей духовно-жизненной напряженности нашей эпохи...»

В таких тонах писали все, кому приходилось отзываться о Чекрыгине. Приведем еще несколько строк, появившихся на страницах «Известий ВДК СССР» в июне 1923 г.: «посещая выставки текущего сезона», — пишет рецензент газеты Я. Тугенгольд, — «настраиваешься на минорный лад. Старшее поколение художников работает по инерции, ничего не приобретая от нашей эпохи. Молодые гораздо более созвучное с нею односторонне увлечено формальной внешностью искусства и готово сделать из произведения фетиш. И вот, на этом общем холодном фоне нашего современного художества — неожиданный проблеск подлинного творческого пламени: посмертная выставка В. Н. Чекрыгина, организованная Государственной Цветковской галлереей. Случайность оборвала в прошлом году его молодую жизнь. Теперь выставка впервые раскрывает перед нами его громадный, давно не виданный нами художественный талант и еще большие возможности, увы, не воплощенные им. В каждом, самом маленьком, чекрыгинском рисунке углем редкое мастерство линий и светотени, которым он мог бы состязаться с лучшими рисовальщиками запада. Но дело не в одном этом, а в том, что все творчество Чекрыгина исполнено необычайного внутреннего горения, доходящего до экстаза. Человек, его напряженное тело, его мятущаяся душа, — вот основная тема Чекрыгина, которая ценна для нас, как корректура, к господствующему сейчас в живописи засилью вещей. Этот, никому неизвестный, юноша мечтал о большом монументальном искусстве, о стенописи, о фреске. И пусть тема этой „фрески“ рисовалась ему в традиционном (?) жанре „воскресения мертвых“, пусть на первых произведениях его лежит печать меланхолии и даже жути, его рвущиеся куда то вперед человеческие тела производят на нас впечатление прежде всего той самой стремительной жизненности, какая свойственна нашей трагической и вместе с тем такой бодрой эпохе! Не даром один из рисунков Чекрыгина носит название „Восстание“*).

*) Здесь надо отметить забавное недоразумение, жертвой которого стал автор рецензии. Слово „восстание“ по славянски синоним „воскресения“ (буквальный перевод греческого „αναστασις“) на языке Федорова и следующего ему Чекрыгина, ничего общего не имело с „восстанием“ сынов человеческих друг пре-

„Творчество Чекрыгина общечеловечно в самом лучшем смысле этого слова и стало быть ценно для каждого массового зрителя: оно заражает его своим волнующим динамизмом“.

К сказанному в такого рода отзывах трудно что либо добавить. Разве только остается точнее указать первоисточник этого волнующего динамизма. Все художественное credo Чекрыгина вытекло из „Философии Общего Дела“, которая с 1919—1920 г. становится его настольной книгой и тогда же начинается небывалый расцвет творчества художника. В посмертном его (еще неизданном пока) трактате-поэме „Собор воскрешающего музея“ мы имеем оригинальное приложение мировоззрения Н. Ф. Федорова к проблеме развития искусств и, в частности, задач живописи, которая от созданий мертвых подобий организма должна постепенно восходить к прощупыванию живой световой ткани преобразенного тела. Несколько замечательных (не упавших на выставку) рисунков должны были иллюстрировать „Собор воскрешающего музея“. Самый удачный из них передает важнейший литургический (евхаристический) момент соединения праха отцов с их световыми образами (иконостасом): молитвенное воздевание рук сына (земная церковь) являет собой деятельное орудие и живой мост этого соединения.

Такое явление, как творчество Чекрыгина, с достаточной ясностью предуказывает, куда пойдет современное искусство, если только встанет от одра своего, если вообще ему суждено взять свой одр и ходить. Покуда что у одра собралось не мало врачей, но все лекарства их не в прок больному. Искусство, уводящее от жизни, тепличное, оранже-рейнное, искусство экономически привилегированных и внутренне вырождающихся сословий теряет последние крохи своего очарования. Правда, некоторые группы художников и теоретиков выдвигают лозунг: искусство должно строить и организовать жизнь. Но при малейшей попытке конкретизации этого лозунга оказывается, что искусство должно раствориться в производстве... мертвых вещей. Короче и откровенней — искусство должно умереть, как таковое. „Сдайтесь, певцы и художники, кстати-ли вымыслы ваши в наш век положительный?“ Эта старая песня иконоборцев никогда еще не звучала с большей силой, с большим подобием правоты, нежели в нашу эпоху. Как не раз подчеркивает Федоров, иконоборство заключало в себе живую струю протестующего чувства и действенной воли, не мирящейся с воскрешением отцов в виде только застывших образов и подобий.

Седьмой вселенский собор принял во внимание опасность срыва иконопочитания в идолопоклонство, поставив художеству религиозно-осознанную цель. Ряд течений современного конструктивизма беспомощно барахтается между принципами целесообразности и утилитарности. Целесообразность, при отсутствии ясно сознанный, последней цели, оказывается пустым местом. „Практическая“ же организация текущей жизни, обертывается на деле организацией скорейшей смерти, смерти индивидуума, задышающегося в условиях промышленной цивилизации — и быть может смерти человечества в его целом.

„Искусство“, говорят нам, „должно раствориться в жизни“. Но как протекает и чем кончается эта самая жизнь, которая растворит в себе искусство? Протекает она, как водится, в медленном или убыст-

тив друга, а не против общего врага, т. е. с таким „оживлением“ общественной деятельности, результатом которого оказываются новые горы трупов. Сколь мало тема „восстания“ в политическом и т. п. смысле способна вдохновить художника, свидетельствует официально признанное убожество выставок, пытающихся „уловить современность“.

ренном разложении и распаде органических тканей. Кончается же она, разумеется, смертью. Выходит, что от растворения в себе тучной коровы искусства тощая корова жизни сама ничуть не пополнеет, скорей вовсе протянет ноги. Иное дело, когда искусство поставит ясную задачу органического противодействия всякому падению и распаду, борьбу с „духом тяжести“. Уже начали сознавать, что конструкция техническая (современной инструментальной орудийной техники) не имеет еще в себе признаков конструкции художественной, что, например, вся новая архитектура до-нельзя удалена от искусства и не ищет путей к нему. „Строитель небоскребов раболепствует перед жестокой и требовательной трудностью, под которой человеческая фантазия задыхается, как улитка под тяжелой скорлупой“...

„Двадцатый век не шутит. Известные идеи требовали внешних форм. Вот они. Благодарите же архитектора и живите в этих домах. Вы не можете? Эти прямые линии и голые стены способны довести до самоубийства*? Что-ж, к этому, видимо, как раз и хотели подвести вас известные идеи“.

Идеи другого рода вам остались неизвестными, не правда-ли? Между тем, не один Н. Ф. Федоров приходил к определению искусства, как противодействия падению, как стремление овладеть силой тяготения, снять с ядра телесной жизни тяжелую скорлупу инертной и косной магнитной среды. Добросовестное наблюдение любой области художественного творчества всегда уполномочивало теоретиков на такого же рода утверждения.

„Изучение синтестезического характера произведений искусства на основании теорий проф. Ле-Дантека об иммитации и коллоидных резонансах позволяет думать, что артистическое чувство есть лишь одна из функций тяжести. Изучаем мы жест (пластику) или слово (звук), мы все равно должны придти к неизбежному заключению, что искусство есть выразительная форма всемирного тяготения**).

Этого рода мысли доселе не получили еще должного резонанса в широких слоях „мыслящего“ общества. Оттого идея архитектурного, литургического синтеза искусств все еще остается уделом немногих, творящих пока „про себя“, художников. Но будущее явно за ней, если только вообще искусству и культурному человечеству суждено будущее. Музыкально символический синтез недавних лет не смог окончательно избавить художников от трагизма, от кошмара безцельности и бесплодности. Лучшее, что он дал, были „предчувствия и предвестия“. Теперь они должны кристаллизоваться в проекты и планы. Религией дается предельная целевая установка, организующая искусство. Недостаточная включенность искусства в литургию, существование „светского“ искусства, реставрирующего языческие культы, свидетельствует лишь о слабости и робости христианского религиозного сознания. Если практика умного делания, рекомендуемая не для одних только пустынных, но и для мирян, требует непрерывной молитвы, требует, следовательно, чтобы молитвой было насквозь проникнуто, от молитвы неотделимо, молитвой вдохновляемо и направляемо всякое человеческое чувство, желание и действие, то нельзя не признать, что это представимо и осуществимо лишь в случае определенной целеустремленности, в случае

*) И. Эрнбург. „Новая архитектура“, Известия ВЦИК 9 января 1927 г. Это заявление есть плачевный финал долгих конструктивистических увлечений и чаяний автора, выраженных ранее в книге: „А все таки она вертится“. Геликон. Берлин. 1922 г.

**) Жак. Д. Удин „Искусство и жест“, перев. кн. С. М. Волконского, стр. 207.

превращения всех жизненных действий и отправлений в частицы единого дела, соборно совершаемого по единому плану. План же этот заимствовать неоткуда, как только из чинопоследования литургии, где молитва всей церкви, возносясь к своим вершинам, достигает по ощущению верующих (верных) крайней точки своего действия на видимую косную среду: пресуществления (существенного изменения внутренней формы).

Художественное вдохновение есть состояние, наиболее близкое к вдохновению молитвенно-религиозному и благодатному освящению и пресуществлению. Пронизанное, организованное, освобожденное от хаотической мути и демонических срывов молитвой — искусство, в свою очередь, организует науку, координируя, упорядочивая и направляя по намеренным путям всю аналитическую, исследовательскую, испытательскую деятельность человечества, включая и ее в молитвенно-литургическое действие. И только таким путем организованная наука сможет уже по настоящему организовать весь человеческий труд. Недостаточная включенность искусства в литургию создает почву для „обольщений второго апокалипсического зверя“ (магически-гипнотических массовых внушений), недостаточная включенность науки в искусство порождает силу зверя первого (механически-принудительных „организаций“).

Правильная организация труда, иначе сказать, нормальное взаимоотношение труда и науки было предметом исключительного внимания и размышления Федорова — „Философия Общего Дела“, по самой сути, должна быть осмыслением и оправданием „дела“ — работы, труда. Философия Н. Ф. Федорова это грандиознейший апофеоз труда, какой только когда-либо создавала человеческая мысль. Но труд всемогущ и плодотворен только при условии нераздельного слияния его с наукой.

Современность судорожно и тщетно ищет путей к такому слиянию. Если, как мы видели в основе всех кастовых и сословных делений, лежит разрыв между людьми знания и людьми дела, то — спрашивает Федоров — заслуживает-ли названия истинной та сословная наука (университетская), которая основывается на наблюдениях, „производимых кое-где, кое-когда и кое-кем“, а также „кабинетных и лабораторных опытах, выводы из которых прилагаются к фабричной и заводской деятельности“. — „Не должна-ли наука быть достоянием всех, быть выводом из наблюдений, производимых везде, всегда и всеми, выводом прилагемым к регуляции, т. е. управлению слепой и безчувственной силой природы? В праве-ли наука „чистая“ быть безучастною к человеческим бедствиям, т. е. должна ли быть знанием только для знания? И не преступна-ли наука прикладная, создающая предметы вражды, мануфактурные игрушки и вооружающая враждующих из-за этих игрушек истребительнейшими и мучительнейшими орудиями, мощно содействующими обращению земли в кладбище? Все должны быть познающими и все — предметом познания“.

„Нужно знание природы такое, которое бы поставило себе целью счастье всех, знание, которое поэтому должно составлять достояние также всех, а не одной привилегированной касты ученых и техников, работающих на купцов и фабрикантов. Именно для банкиров то и фабрикантов нет места во всемирной небесной деятельности, от которой зависит и вся разумная и нравственная деятельность земная“ (Кож. 205).

„Ученое сословие, деля барыш с третьим сословием, т. е. участвуя в обращении принадлежащих к четвертому сословию фабричных рабочих в машины, в клапаны, так сказать, обезглавливая их на все шесть дней недели, показывает вид, будто принимает горячее участие в рабочих и в седьмой день занимает их популярным чтением, т. е. как бы

возвращает им на этот день голову, которая для рабочих, таким образом, тоже что шляпа, которую надевают по праздникам“. (I,422).

Капиталистическая промышленность, производящая, главным образом, „мануфактурные безделушки, тряпки и игрушки“, сооружает, с одной стороны, громадные фабрики с тысячами рабочих, одуряемых однообразием труда, с чудовищными машинами, приводимыми в действие силою, извлекаемой уже не однообразною, а прямо каторжною работою многих тысяч рабочих из глубины недр земли, хранящих запасы солнечной теплоты, однако, уже истощаемые, — несчастных, которые погружены чуть ли „не в 500 раз глубже, чем обыкновенно хоронят мертвых. С другой стороны, крупповские орудия, скорострельные, дальнобойные митральезы, пулеметы, осыпающие градом пуль! И все это нужно для защиты того же производства, т. е. тех же тряпок и игрушек, служащих к увековечению ребячества и несовершеннolenия“. Новый милитаризм создан для защиты городов, как от внутренних врагов, работающих на фабриках, так и внешних иноземных врагов.. „Торгово-промышленные интересы служат источниками международных раздоров. Для защиты торгово-промышленных интересов и проводится весь народ через военную школу и значительная часть населения постоянно содержится под оружием. А все это требует таких расходов и издержек, что большая доля доходов от производства идет не на производящих или участвующих так или иначе в производстве, а на содержание тех, которые назначены для защиты производства от конкурентов, так и для захвата новых мест вывоза и сбыта“. (II.333 и 332).

Словом, весь процесс производства, торга и войны представляет во всех своих частях одно порочное целое. Мы не станем—излагать основы той социологической и экономической доктрины, которая может быть развита на основе учения Федорова. Данная им критика капиталистического строя убийственна и неотразима *). В сравнении с ней представляется довольно беспочвенными и беспомощными бутады социалистической или анархической науки, клеймящих классовый гнет, раскрывающих связь этого гнета с процессами торга и войны, но не уразумевших того, что и торг и война суть неотделимые элементы „порочного целого“, неотвратимые результаты того производства мертвых вещей, производства тряпок и игрушек, разжигающих похоть, которым занято капиталистическое общество и за пределы которого еще доселе не простирались мечтания и проекты строителей будущего „трудового“ общества. Пустота и бессодержательность этих мечтаний делает их недостаточно приемлемыми, доказательными и увлекательными для всех людей: вот почему им приходится опираться лишь на тех, кому все равно нечего терять, на тех, чье положение наиболее нестерпимо в существующем экономическом строе и призывать их, главным образом,

*) Некоторую систематизацию экономических взглядов Федорова мы имеем в уже упоминавшейся книге В. А. Кожевникова „Н. Ф. Федоров. Опыт изложения его учения“. В 9-й главе этой книги (стр. 159—211) — рассмотрены „наиболее типичные из тех фактов и учений, против которых направлена полемика „Философии Общего Дела“ в области общественно-экономической“.

Принципиальное оправдание капитализма, вера во всемогущество денег как и его разновидность, социалистическая мечта об „освобождении труда“, — точнее, „об освобождении от труда“, — вырастают из одной психологической почвы, из пассивного, не трудового, паразитического отношения к природе. Доколе не изменятся в корне отношения людей к природе — все проекты изменений их взаимоотношений, все перегруппировки социальных слоев не приведут к желанной гармонии. „Друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь“. — Социальная борьба ценна разве как лишнее свидетельство о крайней непрочности и негодности сложившегося строя городской, индустриальной цивилизации.

к расшатыванию, к разрушению этого строя, к социальной“ борьбе,— в надежде, что после победы угнетенных классов „само собой“ начнет-ся новое строительство, восстановится „новое“ производство. Но, поскольку восстанавливается не новое, а все то же единственно известное старое производство, постольку оно неотвратимо влечет за собой прочие ненавидимые части „порочного целого“. Сначала торг, а затем и войну. У смертельно, казалось бы, раненого зверя, как ни в чем ни бывало, вырастает новая голова. Вот отчего вопросы положительного технического и хозяйственного строительства, вопросы производства, организаций труда, естественно, выдвигаются, мало по малу, всюду в центр общественного внимания. До недавних пор социально-экономические учения всех типов отводили этому вопросу лишь крошечное место, где то на задворках сооружаемых систем. Даже самое содержание объема понятия „труда“ оставались нераскрытыми весь интерес был отдан „капиталу“.. Переломный момент назрел лишь в начале двадцатого века в кругах довольно далеких от каких либо социально-реформаторских стремлений.

Примененная на американских заводах система инженера Ф. Тайлора, первые методы хронометража и учета трудовых усилий оказались тем горчишным зерном, из которого выросло огромное научное-производственное движение, охватившее все культурные страны. Все как-то сразу вдруг постигли, что труд человеческий должен быть, наконец, организован, что наука есть та именно сила, которая его организует. Однако, настоящая стадия движения позволяет в сущности говорить не столько о научной организации, сколько о „полунаучной механизации“ труда. Для того, чтобы организовать труд по настоящему, наука сама должна быть сколько нибудь серьезно организована.

Мы не имеем сейчас науки цельной и всеобщей, о которой в свое время мечтали Бекон, Лейбниц, Конт и другие. „Наука“ — пишет один современный автор — „знает или изучает закон всевозможных явлений естественных и социальных, кроме законов... своего собственного развития. И нынешняя наука, всех и все изучающая, как наиболее научно, наиболее продуктивно организовать труд, сама остается неорганизованной, даже непознанной с этой стороны, вполне уподобляясь в этом отношении тому врачу, которому его пациенты могли бы сказать: „врачу, исцелися сам“, или иголке, которая, по пословице, всех обшивает, а сама голая ходит“ *)

Наука неорганизована вдвойне — как сумма понятий и методов, с помощью которых человек стремится познать мир и управлять им — и как род деятельности, направленной на добывание и обработку этих понятий и методов. Если организация науки во втором смысле, т. е. научной деятельности, как одного из видов труда, как одной из форм траты человеком своей трудовой энергии — могла бы быть достигнута средствами самой науки, то организация ее в первом и основном смысле, т. е. координация того множества идей и методов, какие накоплены на путях научно-познавательного процесса, требует уже нового организационного принципа, сверхнаучного, требует, как мы выше видели, принципа художественного. Те способы организации труда, какие выработал тейлоризм, и ряд ответвившихся от него направлений можно рассматривать как первые лишь прощупы и частичные пробы еще не осоз-

*) Д. Вайсман „К вопросу о повышении производительности научного труда“, Екатеринбург. 1919 г. стр. 4; ср. так же А. К. Горностаев „Экономика научного производства“, Октябрь Мысли 1924 №№ 3—4 и 5—6 и А. Гастев „ЦИТ, как изыскательное сооружение“, Организация Труда № 41, 1928, ст. 21.

нанного всеобщего организационного плана. Чем шире развивается управленческое движение, чем углубленней становятся проблемы социальной инженерии, чем серьезней работникам просвещения и культуры приходится задумываться над вопросом взаимоотношения физического и умственного труда, тем резче вырисовывается срочная необходимость найти достаточно четкий, организационный принцип для этого последнего. Современность наша вплотную, наконец, придвинута к двум, крайне простым, вопросам, на которые тщетно ждал ответа философ Общего Дела от своих современников. Берем их формулировку из неизданного письма Н. Ф. Федорова:

— Вопрос первый: „Доросла ли наука до необходимости иметь центр и органы повсеместно?“—Вопрос второй: „Может ли эта организация держаться без священной цели воскресения?“

На первый вопрос слышим все чаще и громче ответ утвердительный. Ряд выдающихся представителей самой науки крайне озабочен созданием мирового научного центра. Еще перед германской войной В. Оствальд призывал к международной консолидации ученого мира, к образованию „всемирного ума“, мозга земного шара. Эту цель ставило основанное в 1911 г. в Мюнхене общество Die Brücke. Однако, опыт мировой войны и поведение самого Оствальда и других выдающихся ученых, всецело поддавшихся националистической, шовинистической эпидемии, наглядно показал сколь неустойчива подобная организация, не воодушевленная священной целью.

Всемирный ум с необыкновенной легкостью сдается в плен всемирному безумию и рабству, темным страстям таящимся в коллективном подсознании. Оправданием такого служения выставляется патриотизм, т. е. связь с отцами и предками. Полное примирение отдельных племенных, расовых патриотизмов невысказано до той поры, пока от темного стихийного и частичного воспроизведения предков (рождения) не обозначится переход к воспроизведению их явному и всецело сознательному (воскрешению). Наука неизбежно будет служить либо тому, либо этому: но в первом случае ее „организация“ построится на песке (на хаотической основе) и послужит в конечном счете еще большей дезорганизации и распаду. О „продуманном, исчерпывающем учете научных сил в мировом масштабе“, о „мировом объединении ученых“ мечтают и сейчас многие видные деятели европейской науки. У нас настойчиво повторяет эту мысль академик С. Ольденбург: „прежде всего надо познать себя“, — обращается он к своим товарищам по научной работе, — „а себя мы не можем познать, пока мы только какие-то раскиданные по всему свету песчинки, чуждые одна другой. А ведь, если действительно захотеть, не пройдет каких-нибудь двух лет и мы можем смело подсчитать все свои силы и приступить к созданию плана великой мировой научной работы. Гении, великие творцы, укажут цели и пути, наметят возможности и по новым путям двинутся уже не орды кочевников, способных только на набеги, а стройные ряды работников, которые, шаг за шагом, обрабатывая землю, по которой пойдут, совершат мирное и окончательное завоевание земли для творчества созидательного“ *).

Остановка, оказывается, за малым, стоит только захотеть. Почему-то, однако, хотения человечества не направлены в эту сторону с достаточной силой? Не потому-ли, что цели объединения все еще не указаны и не ясны ни рядовым работникам науки, ни даже самым „гениям“

*) „Творчество“, сборник статей Петроград. 1923 г. стр. 15

и творцам?“ Как на образец ожиданий и надежд, какими сейчас воодушевлены авторитетнейшие из научных деятелей, сошлемся на речь академика А. Ферсмана „Пути и наука будущего“. — „Среди уроков, среди великих экономических потрясений человечества, значение научного творчества в государственной жизни народов“, — свидетельствует этот ученый, — „сделалось общим лозунгом. Впервые в истории культуры война своими реальными последствиями показала, какую огромную роль играют успехи науки в технике войны и мира, в экономике, в строительстве, промышленной жизни. Эта идея государственного значения науки начинает входить постепенно в общее сознание и делается общим достоянием. Из лабораторий и кабинетов высших школ наука переходит к собственным формам организации. Я вижу первую тропу к науке будущего... Я вижу ее, эту науку, как мирный государственный механизм, я вижу всемогущую власть ее и ее деятелей, могучее подчинение науке всех элементов государственной жизни, торжество мысли, творческих порывов. В этом будущем строителем жизни будет ученый — не оторванный от окружающего мира, а тесно связанный с ним: он будет иметь свое право владеть этим миром, ибо только его достижениями будет этот мир жить. Время кустарной работы прошло, прошло время индивидуальных порывов, разбросанной, бессистемной методики. Героическое время науки в прошлом; надо строить ее сейчас иначе, необходимо согласование и соединение, необходимы новые формы научного творчества. И сочетая красоту и величие индивидуального творчества с коллективным трудом, наука на грядущих путях должна сама построить себе новое здание. Я не знаю, как она его построит, но уже сейчас мы можем сказать, что это будет **Одно** здание для всего человечества и что великое объединение народов будет только под знаменем единой науки и единой мысли. Вижу ясно этот второй путь к науке будущего: путь торжествующего слияния народов под все растущую мощью научной интернациональной организации“ *).

Далее, академик Ферсман обозревает окружающие завоевания научной мысли и крушение устоев старого мировоззрения. Увлекательная картина не только организационно-технического, но и творчески-методологического объединения наук рисуется его взору. К этой картине обратимся ниже. Оглядываясь на окружающее, автор „Путей к науке будущего“ видит иные картины, картины голода, нищеты, злобы и ужаса... „15 миллионов убитых, 10 миллионов искалеченных человеческих жизней, 30 миллионов обреченных на смерть от голода и не видно конца нависшим тучам с зарницами новых войн, с новыми потрясениями и угрозами гибели культуры“.

Вопрос весь в том, что растет быстрее: интернациональная мощь организующейся науки, или стихийные антагонизмы разрозненных частей человечества. „Одно, несомненно“, — заканчивает свою речь академик Ферсман, — будущее зависит от самого человека, оно зависит от нас самих, если мы только сумеем сквозь окружающий нас мрак пронести к светлomu будущему яркий факел науки“.

Роковое «если» — должно заставить всех тех, кто серьезно создает свою ответственность в столь исключительный момент мировой истории наперечь всю силу мысли и воли, чтобы «суметь». Стоит понаблюдать, из каких элементов слагается «окружающий нас мрак», чтобы сейчас же заметить, что в сложении и сгущении этого мрака принимает

*) Академик А. Ферсман „Пути к науке будущего“, речь, произнесенная на годичном акте Географического Института 30 января 1922 г. Петроград, Научно-химико-техническое издательство, стр. 7—13.

крайне деятельное участие некий чад, идущей как раз от факела, если не науки (ведь сама наука, как нечто целое и единое, еще только собирается и хочет быть), — то от множества отдельных несогласованных друг с другом наук, от полунаучности, от той недодуманной, недоразвитой „полунауки“, которую так метко характеризовал Достоевский (устаами Шатова в «Бесах»): «полунаука самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких не приходило до сих пор еще никогда; деспот, имеющий своих жрецов и рабов, пред которыми трепещет даже сама наука и безстыдно потекает ему».

Никакой фанатизм религиозного изуверства, отличавший былые века, не годится в сравнение с фанатизмом сектантов науки. Становясь общественной силой, такая научная секта, обычно, стремится дать «разумное» оправдание тому или иному виду национального, расового, сословного или профессионального антагонизма, входит в контакт с самыми темными, придавленными в процессе культурного роста страстями человеческой природы, разнуздывает их и тем всячески способствует углублению и ускорению общественного распада. В жуткой картине современности ак. Ферсманом не отгены черты, составляющие специфическую особенность нашей эпохи. Как виделось опять таки Достоевскому (в каторжном сне Раскольниково): „никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимое своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшестввовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Собирались друг на друга целыми армиями, войны бросались друг на друга, кололись и резались, кусались и ели друг друга...“.

Чтобы пронести тот факел, о котором говорит академик Ферсман, объединить человечество для созидательной работы и разогнать нависающий мрак и угрозу гибели всей культуры, наука, в первую очередь, должна одолеть самого страшного своего врага, самого немилосердного деспота, полунауку. Нет сомнения, что даже внешне организоваться в международном масштабе ученые никогда не смогут и просто не успеют предупредить в этом организацию иных темных и зверских сил, если только одновременно не произойдет объединения разрозненных наук в цельном мировоззрении, в четко разработанном общеприемлемом плане единого мировоззрения, как будто уже начинающего выкристаллизовываться из хаоса неопределенного множества „моделей“, условно-гипотетических картин мира, коими изобиловали частные науки или даже одна и та же наука в интерпретациях разных школ.

С того момента, как физика переварила и растворила в себе механику, превратила ее в отрасль электро-динамики, физика обнаруживает ясную тенденцию стать наукой наук, единой наукой о „естестве“, о природе. Можно сказать, что ни одна из современных наук несвободна от ее воздействия. Все расступается перед методами физики, все в нее вливается, как часть в целое.—„Ее методика“—заявляет акад. Ферсман в упомянутой речи — „раздвигающая ежечасно рамки познаваемого мира, ее математический анализ и глубокий философский подход, глубоко захватили в своих завоеваниях области других дисциплин: уже повзлительно распоряжается физика в старом царстве химии, создавая совершенно новый мир понятий и ставя перед химией новые проблемы химической физики. Старая кристаллография превратилась в главу физики о строении магрии, минералогия, геохимия и астрофизика стали

сливаться в совершенно новую область научного познания“ *).

„Единство мысли и единство метода — вот что несет за собою торжествующая физика, и все точное положительное знание объединяется вокруг этой научной дисциплины, в ее методах видя правильные пути успеха“. Науки гуманитарные и исторические, не сумевшие пока пойти далее сравнительного метода исследования, тоже потянулись на новый путь. „Уже врываются новые методы точного знания в старую археологию и социологию, психологию и генетику человеческого рода; уже наука о доисторическом человеке перешла в область господства естественно-исторической мысли...“.

Вслед за химией, уже целиком проглоченной физикой **) движутся в том же направлении биология, физиология и психология. „К самой загадке жизни осторожно и постепенно подходит человек“. Ферсман ссылается на блестящий цикл исследований Утрехтского физиолога Цваардемакера, установившего „что именно теми 40 граммами солей калия, которые содержатся в человеческом организме и в организмах животных, определяется ход жизненного процесса. Жизнь не может идти в среде, лишенной калия и снова оживает и начинает биться сердце, как только соли калия вольются в окружающую его питательную среду“. Но не „химической“ энергией вызывается это действие, а теми радиоактивными излучениями, которые недавно были открыты в элементе калия, и одинаково, но в более слабой степени разделяются его аналогами — атомами цезия и рубидия. Заменить калий этими двумя солями, но не в равных весовых количествах, а равной силы излучения и ничто в жизненном процессе не изменится. И в красивых обобщениях рисуется жизнь как сложный процесс, связанный с энергией распадающегося атома, как один из видов течения радиоактивного процесса природы.

„И человек, упорно анализируя жизнь и ее проявления, ищет способов управления ею: он открыл в ультрамикроскопе мельчайшие живые организмы, соизмеримые с длинами световых волн, содержащиеся в клетке небольшие количества молекул вещества, он в электро-культурах с огромным успехом ускоряет процесс роста некоторых растений, намечая новые пути к культурам будущего. Он пытается вмешаться в явления наследственности и глубоко проникнув в ее законы, не только создает новые области знания генетики, но и властно направляет развитие организованного мира по тому пути, по которому хочет его воля и мысль. Широкой волной разливаются идеи евгеники и будущее человеческого рода, его физический и умственный прогресс рисуется как закономерный, природный процесс, легко регулируемый сознательным участием в нем самого человека. Наконец, над жизнью самого индивидуума он пытается захватить власть... Пусть несмелы еще эти пути, пусть еще не решена проблема жизни, все же первые опыты сделаны, надо их углубить! И одновременно с этим идет завоевание самых высоких проявлений природы человеческой мысли и психики. Новые естественно-исторические методы врываются в область психологии и физиологии чувств. Уже рисуются в теориях ионного возбуждения акад. Лазарева

*) Эта „новая область“ и есть именно то, что разумел автор „Философии Общего Дела“, говоря об астрономии в которую должна влиться физика со всеми прочими науками. Будем ли мы это слитное единство называть астрономией, или астрофизикой, или наконец, просто физикой (в смысле универсальной науки о „естестве“, о всем сущем), от этого, конечно, дело не изменится.

**) Решающие опыты в этом направлении произведены были еще в 1916 г. германским химиком Касселем и в самое последнее время (1928 г.) американским физиком Берджем.

движение человеческой мысли, как электро-магнитные волны и упорным трудом пытаются ученые уловить эту область психической жизни точными методами электромагнитного анализа. Как ни слабы еще эти попытки, но они нам определенно говорят, что весь мир человеческих переживаний, сама творческая мысль человека явится последним высшим этапом научных исследований физика“.

„Может быть мы не знаем еще тех волн, которые определяют существование психической деятельности, может быть там, далеко, за пределами 5-го знака световой волны (10^{-5}) за минус девятым знаком волны рентгеновских колебаний лежит этот неведомый пока мир *).

С вопросом о непосредственной передаче электромагнитных вихрей (волн), излучаемых человеческим организмом, вплотную сталкивается сейчас школа акад. Лазарева. Согласно ее утверждению, живое существо (человек) играет роль трансформатора, превращающего одни виды энергии в другие и в том числе в нервную. О перспективах возможных достижений, отсюда открывающихся, вот что пишет один из учеников Лазарева инженер С. А. Бекнев.

„Когда человечество овладеет вполне методами и законами трансформирования новой энергии, то ясно, что для него откроются совершенно новые горизонты. Если человечество может превращать световую энергию в нервную, то и обратно организм сможет трансформировать нервную энергию (энергию мысли) в световую. Человеку не нужен больше свет, он сам является источником такового. Где он появляется, там светло и тепло. Когда человек будет в состоянии координировать по желанию превращению нервной энергии в механическую, то ему не трудно будет устранить силу притяжения, а, следовательно, вопросы передвижения без каких либо приборов легко осуществляются сами собой только как результат мышления. Передача силы на расстояние, наоборот, обусловит развитие сил притяжения и связанные с ними возможности созидать такие сооружения, которые по громоздкости входящих в них предметов до сего времени были недоступны. Далее возможно электро-химическое влияние на видоизменение строения вещества, на произрастание растений, на образование не только новых живых организмов, но и различных (весьма сложных, космического типа) систем микромасштаба **).

Подобные картины будущего, столь живо напоминающие последние страницы Откровения Иоанна (город „не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его... спасенные народы будут ходить в свете его... ночи там не будет... древо жизни двенадцать раз приносящее плоды“ и пр.) — являются уже в настоящее время единственно надежной путеводной нитью для всякого, кто захочет основательно продумать всю проблематику организации и максимальной производительности труда. И мы уже имеем целый ряд теоретиков и практиков научной организации труда, сумевших в той

* Академик Ферсман. „Пути к науке будущего“, стр. 46—51.

** С. А. Бекнев „Гипотезы о нервной энергии и ее значение в деле образования рабочих коллективов максимальной производительности труда“. Москва. 1923 г. склад издан. В.С.Н.Х., стр. 18—19.

По поводу научных построений, развитых в этой книге, нам приходилось беседовать с акад. И. П. Лазаревым, который подтвердил, что гипотеза Бекнева всецело вытекает и закономерно продолжает теорию ионного возбуждения. Против ожидаемых результатов овладения процессом органической трансформации энергии — физику нечего возразить. Вопросы эти встали на очереди. Остановка за нахождением единицы измерения нервной энергии. В этом направлении делается ряд опытов.

или другой степени учесть роль космической проектики, как стимула трудовой производительности.

В 1924 году в Москве вышла книга Вал. Муравьева „Овладение временем, как основная задача организации труда“. Автору совершенно ясно, что „проблема овладения временем есть не что иное, как дальнейшее углубление проблемы НОТ, в особенности в той части этой науки, которая касается использования времени“. В постановке Муравьева „использование времени переходит в овладение им. Цель организации культуры, в результате осознания проблемы времени, есть преобразование мира в смысле победы людей над слепыми и косными его силами“. И НОТ получает действительно бесспорную цель только в связи с приданием ей такого смысла.

Рассмотрев вопрос с точки зрения философской, логической, математической, социологической и организационной — автор приходит к очень определенным и четким выводам. „Власть изменять отношение вещей дает мне господство и над временем, ибо оно есть не что иное, как порядок этих отношений. Время, отсюда возникающее, уже не извне меня навязывается, но является моим собственным временем и соответственно находится в моих руках. Власть над этим временем дает мне также способность воскрешения: повторяя какуюнибудь бывшую последовательность события, я воскрешаю эти бывшие явления. Расширение сферы этого подвластного мне времени и есть овладение большим кругом временности...“. „Преобразовательное и времяобразующее действие есть повсюду и во всем. Исключить из его сферы можно было бы одну только мертвую материю, если бы таковая существовала. Но самый вопрос о живом и мертвом сейчас как будто устраняется наукой в смысле невозможности поставить между ними ясную грань. Здесь древний гилозоизм как будто встречается с исканиями крайних механистов, доказывающих, что в проявлениях жизни мы имеем усложненные раздражения. Не все ли равно в общем, как называть эти явления? Важно, что они есть везде, где, вообще, чтонибудь есть, и что таким образом устанавливается цепь однообразных проявлений от низших до высших единиц творения. Пусть философы спорят о кличках и наименованиях. Для нас важно отметить единство мирового процесса времяобразования везде, где есть признаки жизни и явное, по мере роста сознания, преодоление случайного и слепого времени и замена его временем намеренным и разумным. Максимум такого преодоления может быть и максимум жизни“.

Отсюда: „люди должны привыкнуть видеть в общей борьбе против смертоносных сил природы наивысшее человеческое дело. Объединение не ограничивает человеческие цели, но, наоборот, безконечно, до максимального предела, их расширяет и придает им в конечном итоге космический характер... Организация культуры требует соответственной организации и направления общего дела всех людей, путем придания ему коллективно-космической цели преобразования мира“.

„Единая и общая истина, имеющая действенный и деловой смысл, должна быть организована, как господствующее мировоззрение эпохи в порядке внутренне обязательном для тех, кто принимает участие в данном историческом движении. Должна быть установлена общая программа действий, или проект общего дела исторической эпохи“... „Целью хозяйствования должно стать овладение природой и преодоление навязываемого нам времени. Труд человеческий, являющийся орудием хозяйствования, должен получить космическую цель. Каждый труженник должен понять, что он не выработывает только какиенибудь ремешки или пуговицы, но является фактором такого мирового преобразования.“

Этим облагораживаются и освящаются самые скромные, самые приниженные виды труда и труд возводится в деятельность, создающую наибольшее, возможное для людей, совершенство жизни...“.

„Космическое хозяйствование требует соответственной организации. В основу последней должен лечь принцип, что каждый хозяйственный акт только тогда исполняет свое назначение, когда цель его может быть связана с общечеловеческой и мировой хозяйственной целью. Вовсе не нужно для этого, чтобы каждый мелкий экономический акт постигал эту цель во всем ее объеме. Достаточно, чтобы человек, совершающий этот акт, сознавал, что он входит в какую-то систему высших актов, преследующих цель всеобщего движения вперед по пути усовершенствования мира. С этой точки зрения, расширение горизонта экономических деятелей должно заключаться в раскрытии для них связи этих систем и их целей...“.

„Эта всеобъединяющая связь возможна только как осознание идеи ликвидации распада и смерти, идеи всеобщего воскресения“.

„В природе и в истории постоянно действуют воскресительные силы жизни. Они воссоздают многое из того, что сохранилось в виде записей, повторение чего почему-либо нужно. Такое воскресение из природного должно стать разумным. Орган жизни, могущий организовать и направить такое использование старых форм, а также исправить их и дополнить, есть сознание и действенный разум“...

„Если представить себе разумную и систематическую организацию и массовое совершение таких воскресительных процессов, можно получить, в конце концов, их слитие в единое преобразование, меняющее весь мир. Этим путем жизнью побеждается смерть. Генетика превращается в анастатику, искусство рождать — в искусство воскрешать“.

Автор „Овладения временем“ отдает себе также отчет о той роли, какую должно сыграть искусство в качестве высшего организующего принципа анастатической и космократической проектики и практики. Он касается проблемы синтеза искусств и задач новой архитектуры, „само собой разумеется“ — заключает он, — „что вступление на путь такого космического строительства должно повлечь за собой уничтожение граней между отдельными видами искусства, с одной стороны; с другой же стороны, уничтожение граней между этим объединенным искусством и всею остальной творческой работой человечества. Тогда искусство впервые войдет полностью в жизнь, будет ее душой и руководителем. Жизнь станет совокупностью звуков, цветов, озарений, целокупных ощущений и прозрений, станет целостным движением, направляемым вдохновением и разумом к единой цели — преодолению времени *).

Космические перспективы и творчески преобразовательные цели, открывающиеся для объединенного в труде человечества, оказываются, таким образом, необходимой предпосылкой для самой возможности планомерной и плодотворной организации труда **). Тем яснее, казалось бы, необходимость их для организации науки, при которой она могла бы иметь свой „центр и органы повсеместно“. Чем и как ученые убедят неученых итти за ними? Сможет-ли наука, объединенная и целостная, увлечь за собой трудовые массы народа?

*) Валериян Муравьев „Овладение временем“. Москва. 1924 г., стр. 8,57,63 87,88,97,103,109,113,114.

***) Любопытные иллюстрации этого можно извлечь также, например, из книги организатора Московского Центрального Института Труда Алексея Гастева, „Поэзия рабочего удара“.

Для этого научное мировоззрение должно оказаться нагляднее, представимее и понятнее той приуроченной к невежественному вкусустряпни и мазни, какую не устанут преподносить народу фанатические сектанты полунауки.

Для людей, далеких от математической физики, будет ли скольконибудь ощутима и представима та картина мироздания, какая вырисовывается из совокупности современных физических теорий и гипотез? О непредставимости, почти непереносимости, этой картины для обыденного сознания красноречиво свидетельствуют сами теоретики. Мир привычного, трехмерного пространства, мир твердых, плотных, осязаемых вещей, предметов, на которые можно опереться, этот мир перед остротой пристального взгляда современной физической науки растаял, расплавился, испарился без остатка. Чем дальше, тем больше вынуждаемся мы ориентировать все свои восприятия и предприятия не на осязание, а на зрение, на скорость света, — эту, отныне поверочную, инстанцию всякого движения и действия. Длина и форма тел меняется от их положения в пространстве, в новом четырехмерном пространстве, включающем в себя время, как одно из своих измерений, причем вполне произвольным остается взаимоотношение координат — одну из которых мы по желанию интерпретируем, как ось времени. С того момента, как процессы движения по существу свелись к электромагнитным процессам и Вейль получил возможность, наряду с чисто геометрической теорией тяготения Эйнштейна, построить чисто геометрическую теорию электричества, между магнитным полем и полем тяготения выяснилось закономерное геометрическое соотношение. С физической точки зрения, геометрический квант оказывается действием, умноженным на постоянную скорость света, причем под действием понимается произведение энергии на время. Другими словами, не повышая до крайней степени всей своей органической действительности, актуальности, сейчас трудно ориентироваться и просто нельзя выстоять на космическом ветру среди эфирных зыбей электромагнитного океана вселенной, где скрещиваются, плотнеют или рвутся бесчисленные узлы силовых линий, где „первообразы кипят, трепещут творческие силы“, где „в мировом дуновеньи“, в дыму „живого алтаря мирозданья“, „вся сила дрожит и вся вечность снится“. Вот чего собственно требует от нас новая физика. Она приводит нас в то место, где, как разъяснял Вагнеровскому Парсифалю Гурнеманц. „Zum Raum vird hier die Zeit“ (здесь время обращается в пространство). Она требует, чтобы всеобщим и привычным стало то состояние организма, в какое доселе лишь изредка приходили экстастики, поэты и художники на высших ступенях творческого подъема, „как-то странно порой прозревая“.

Смогут ли рядовые людские организации — индивидуумы и коллективы вынести эту картину мира? — Не закружатся ли их головы, не подкосятся ли ноги в этом безбрежьи упругих, звонких, энергетических волн, на этом огненно-стеклянном море? — Устоят ли они в этом море, не имея в руках гуслей, а в устах новой, неслышанной песни, т. е. не будучи творцами, художниками, действительными регуляторами, управителями и зодчими нового динамического пространства?

Ясно только одно без заранее заготовленного и разработанного плана, без согласованного, активного воздействия на „внешнюю“ среду, которая вдруг оказалась „внутренним“ магнитным полем организма, сферой его бесчисленных токов действия, токов, покуда не направленных и не координированных никакой творческой целью, а лишь стихийно и сумбурно распыляющихся, без надлежащего, наконец, знания законов телегонии и идеопластики, определяющих степень влияния

„воображения“) на органические и неорганические тела—впечатляемости мыслеобраза, как узла силовых линий магнитного поля, словом, без уменья сознательного воспроизведения жизни „как огонь от огня“, без стремления к такому воспроизведению огнестеклянное море новейшей физикоматематики, скорее всего, окажется для человечества „озером огненным, горящим серою“, сферой тягчайших мучений и крайнего предельного отчаяния.

Таким образом, физика (или „астрономия“), ставшая наукой наук, единой наукой, включившей в себя биологию, психологию, социологию и т. д., — именно в силу этого расширения вынуждается быть уже не только наукой, стать чем то большим, нежели наука, она должна стать искусством (архитектурой). Элементы синтетической проектики должны получить преобладание над многообразием данных аналитического учета. В противном случае, новосозданная храмина единого научного мировоззрения рассыпется и расплывется по швам прежде, чем ее успеют достроить. Но само искусство, как организационный принцип высшего порядка — в свою очередь, как мы видели, хаотично и беспомощно при отсутствии последней завершительной скрепы, священной, всеобъемлющей и воодушевляющей цели. Полунаука сдаст свои позиции науке цельной лишь при условии проясненности самой цели.

Однако, этой цели никто не указывает: по крайней мере, о ней избегают объявить во всеулышание: разве изредка тот или другой ученый сделает намек на нее из под спуда, не решаясь открыто перечить полунауке, этому „деспоту с множеством жрецов и рабов“.

Новейшие изыскания рефлексологии выявили огромную роль „рефлекса цели“ в поведении человека. „Вся жизнь“ — утверждает И. П. Павлов — „вся ее культура делается рефлексом цели, делается только людьми, стремящимся к поставленной себе в жизни цели“. Смешно воображать, будто одни только высшие формы культурной деятельности — наука и искусство смогут почему-то соорганизоваться без подобной, резко пред всеми наперед поставленной и всеми осознанной цели. Подлинно-научная организация (не полунаучная механизация) труда немислима без одновременно художественной организации науки и религиозной организации искусства.

В этом магистраль постройительной мысли Федорова: армия, школа, музей, храм — четыре тесно спаянных и взаимно пронизаемых учреждения объединяют род людской в общем действии. Научно-трудовая борьба с природой, с ее косными и слепыми силами — венчается религиозно-художественным планом преобразования и очеловечения природы, которая нам „враг временный, а друг вечный“. Вокруг очага воскрешения, храма-музея, группируются центры научно-исследовательской и хозяйственно-трудовой деятельности.

С современной стадией развития научного мышления совершенно несовместима допотопная вера во всемирную «мать природу», «непроницаемую материю», «абсолютную непобедимую смерть» и т. п. курьезные, фетишистические остатки архаической, ребяческой трусости мысли. Наука стала насквозь антропологичной, все «природное», внеположное

*) Новые течения в этом направлении свидетельствуют о влиянии физических теорий на медицинскую науку. Предстоит полная переоценка ценностей в таких, например, вопросах, как влияние воображения во время беременности на формирование зародыша, передача психической энергии на расстоянии и пр. см., напр. статью Г. П. Сахарова „Парадоксы наследственности“ в сборнике в память 40-летней деятельности проф. Россолимо. „Неврология, невропатология, психология, психиатрия“. Москва. 1925 г., или статью А. Подъяпольского в „Трудах Саратовского Общества естествоиспытателей и любителей естествознания“. т. IV, вып. 3.

человеку, вплоть до времени и пространства, рассматривается ею, как нечто относительное, приобретающее смысл лишь в соотношении с позицией наблюдателя и управителя (наблюдение всегда есть первый шаг к регуляции и управлению), — человека. Человек стал мерою всех вещей — и это для него сейчас уже не возглас пессимизма и скепсиса, как у античных софистов, но бодрый принцип ориентировочной деятельности: человек не на шутку собирается измерить собой все в мире вещи. Но измерил ли сам себя человек, и чем он мог бы себя измерить до конца, до дна исчерпать? Единица труда, усилие, регулируется единицей науки числом; научные числовые схемы координируются лежащим в основе всякой научной теории символическим описанием — образом. Соотношениями образов друг с другом ведает искусство. Образ есть схема, детализованная до степени органической зеркальности, когда построенное бессознательно по законам органопроекции — орудие (мышления или действия) становится снова органом. Задача человека в мире, по мысли Н. Ф. Федорова, заключается именно в достижении всецелой полноорганности.

„Человек не приобрел себе полноты органов (недостаток необходимых органов мог служить для развития мысли, для самоуглубления, но не для того, чтобы всегда оставаться при одной мысли, недостаток органов мог быть полезен только временно) даже относительно земли и поэтому органический мир, который должен бы быть органами человека, превратился в особое, самостоятельное царство: органический мир — это органы, превратившиеся в особые существа, увековечиваемые в этом ненормальном состоянии рождением: это органы и способы, средства, коими существа сочувствующие, сознающие смертность, могли бы воссоздавать из разрушенного животного вещества (а также строить непосредственно из неорганического вещества) свои организмы, скоплять запасы солнечных сил, и они то, эти органы, превратились в особые существа, составляющие самостоятельное царство. Странное явление членов, живущих самостоятельно, даже получивших способность увековечивать свое царство, создавая себе подобных! Человек берет дань с этого царства, без коего и жить, понятно, не может, но не владеет им человек, только грабит некоторые области этого царства, а с другими борется, как с равными, вместо того, чтобы вносить в это царство свет сознания“.

„Животное царство — это особые орудия, органы, получившие некоторое сознание; но это сознание осуждено состоять при одном или нескольких преобладающих орудиях органах — сознание в животном царстве не создает орудий, как органов, не совершенствует их, а само вполне подчинено им. По этим-то преобладающим органам животное царство и представляется карикатурой, пародией на разумные существа; усовершенствования в животном царстве производятся не разумным путем, случайности увековечиваются путем наследственности (но разумно-ли ждать такого усовершенствования для разумного существа?). Жизнь этих существ-органов состоит не в расширении сознания и действия, а в размножении этого несовершенного искаленного существования: и таким путем эти существа превратились в касты плавающих, летающих, пресмыкающихся, хищничающих и т. д. Сознание у этих существ бессильно и даже не пытается руководить, управлять инстинктом размножения, а потому-то размножение, смеясь, так сказать, над разумом, расширяется и само, можно сказать, превращается в особое существование, в бактериях, трихинах, проникает в поры вещества, живет на других существах, вселяется внутрь их“.

„Размножение вызывает взаимное истребление существ и увлекает

на тот же путь истребления и человека, и разумное существо подчинилось тому же стремлению... Человек, единственное разумное существо на земле, остается еще рабом этой родотворной силы. Такое состояние есть результат недеятельности разума и служит ему глубоким укором, потому что родотворная сила есть только извращение той силы жизни, которая могла бы быть употреблена на восстановление, на воскрешение жизни разумных существ. Живая сила, ограниченная пределами земли, могла проявиться только в размножении, в обособлении органов, т. е. в превращении их в особи и в полном подчинении среде: эквивалентное же замещение их может выразиться в регуляции, в воскрешении, в полноорганности, т. е. в полном подчинении органов личности, в господстве сознания, дающего, вырабатывающего себе органы“.

„Извращение мира в природу (последовательность вместо сосуществования, распадение или отсутствие регуляции, личности обратившиеся в орудие и органы, обратившиеся в особи, и общество по типу животного организма вместо общества полноорганных существ), извращение в слепую силу (все равно, дошел ли мир до настоящего его состояния путем извращения, или же он таким был изначала) — есть, во всяком случае, не безконечное явление, ибо, кроме слепой силы, существует и разумная, хотя бы на одной только земле, и между человеком и природой нет противоположности, разъединение же их временно, а потому устранение этого извращения, восстановление жертв этого извращения—задача человека, смертного сына умерших отцов“ (1,344-6).

В приведенном отрывке дан, как бы сокращенный и потому, может быть, не для всех удобопонятный, конспект всех тенденций, стимулирующих рост искусства, развитие науки и вместе дана программа стоящего на очереди их синтетического взаимопроникновения религиозным преодолением зооморфизма. Поскольку образ зверя перестает быть для человека последней предельной (религиозной) целью, поскольку познана ограниченность животной природы, сочтено число зверя и указано ему место в ряду чисел человеческих, — образ и начертание зверя с помощью ума, науки (учета, исчисления) поняты, почувствованы, как искаженный, оторвавшийся от полноорганного целого в результате как бы некий кастрации (глубочайшая значимость кастрационного комплекса для человеческой психики вскрыта психоанализом) блуждающий орган (вроде Гоголевского „Носа“) — постольку искусство оказывается в силах координировать вихри образов в новую систему зеркальностей, взаимоотражений, систему насквозь прозрачную (не замутненную, не материализованную), макрокосмическое целое, где „все друг другу члены“. Предельная целеустановка для искусства есть обретение того центрообраза, или первообраза, который бы оказался в состоянии всю целокупность мира включить в свой организм. Такой образ Совершенного Человека, свободного от зверской и скотской ограниченности (сдавленности, сплюснутости „внешней тьмой“), явлен и раскрыт лишь в религиозном опыте христианства. Все до-христианские культовые образы, претендовавшие на организацию искусств (как эллинский культ Аполлона) не свободны от зооморфизма*). Все попытки их реставрации несут в себе зародыш собственного срыва и краха. Ожидание антихриста (Аполлиона-губителя, Ср. Откровение Иоанна гл. IX, ст. 11)

*) О том какую значимость может еще иметь образ Аполлона для современного жизнетворческого сознания можно судить хотя бы по книге В. В. Вересаева, „Аполлон—бог живой жизни“, где все искания Л. Толстого, Достоевского, Ницше представлены и оценены в соответствии с приятием этого образа, или противлением ему.

связано с большей вероятностью повторения под обной попытки в планетарном масштабе в эпоху объединения человечества и грандиозного расцвета знания и творчества: она, однако, может и должна быть предупреждена и во всяком случае во время парализована. Полухудожественной организации (автоматизации) науки — заготовляемой во всевозможных системах оккультизма, где неперменной, явной или скрытой и религиозной предпосылкой, подосновой служит древняя вера в «Великую Мать», тьму, хаотическое, всепоглощающее ничто, — магически-гипнотическому уменью „вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы был убиваем всякий, кто не будет поклоняться зверинному изображению“, — должна быть противопоставлена полнота разума и творческого вдохновения. Согласно Откровению Иоанна „победившие зверя и образ его и начертание его и число имени его“ твердо станут на стеклянном море, смешанном с огнем, держа гусли Божии. Они предстоят пред Ликом Агнца, следуют за Агнцем, куда бы он не пошел, т. е., уяснив себе образ Совершенного Человека, с помощью Его координируют образы, затемненные и ущербленные (животные), фиксируя те их моменты, когда и в них просвечивает человечность. — Искусству гипнотического убийства противопоставит искусство воскрешения.

Интересно, что до последнего времени, так называемое, светское искусство уклонялось от такой задачи, как начертание образа Воскресителя и Первенца из мертвых, образа Совершенного Человека. Воображение художников, можно сказать, избегало следовать за Агнцем под разными предлогами. Предлогом служила, сперва, благочестивая на вид боязнь замарать и исказить этот образ, — он, ведь, образ воплощенного Бога, — прикосновением нечистой, „мирской“ мысли и эмоции. В божественности Христа как бы тонула его человечность (монофизитский уклон). Когда же вера во Христа, как сына Божия, была поколеблена гуманистическим просвещением, образ Его стал для многих только человеческим и тем как бы более близким и понятным. Однако, и тут еще могли уклоняться от воспроектирования этого образа, оправдываясь боязнию прегрешить против исторической правды, поскольку данные истории о лице и жизни этого Человека казались слишком обрывочны и спутанны.

Но вот, наконец, поколебалась вера и в самое историческое существование Христа: силе книжнического скепсиса как бы удалось изгнать Его не только с неба, но и с земли, отнять не только божеское достоинство, но и человеческое звание, презратив его в легенду и миф, едва ли не фантазию. Однако, странное дело: потускнели ли от того самый образ Сына Человеческого в воображении его отрицателей и гонителей? Ни мало: наоборот, лишь теперь он впервые начинает по настоящему приковывать к себе всеобщее пристальное внимание, заставляя всех «взглянуть на Того, Которого пронзили».

Сойдя с неба и уйдя с земли, сошедши в ад, в преисподнюю, допущенный к существованию лишь в качестве мифа, порождения людской фантазии, Он, именно здесь-то, и совершает дело своей полной победы над небом и над землею. В настоящее время у людей с развитым воображением (художников) совершенно отнята возможность оправдать свое прохождение мимо образа Христа разного рода „словетами лукавствия“. Никто не сможет и не сумеет отрицать значимости Христа, как художественного образа. С ним, следовательно, необходимо как-то посчитаться, с Ним встретиться лицом к лицу обязан теперь каждый художник, претендующий на сколько-нибудь крупные задачи в своем искусстве.

Одно из двух: либо это не есть образ Совершенного Человека и тогда художнику предстоит мудреная задача: начертить образ „другого“, более „современного“, более нас удовлетворяющего (но всякая подобная попытка роковым образом сведется к „начертанию зверя“, обезьяночеловека); либо жизнь этого Человека есть подлинно идеальный образ человеческой жизни, вообще, „образ образов“: в таком случае в него упирается путь каждого искусства.

Этим и только этим образом измерит себя до конца сам человек. Вот откуда вырастает необходимость в наше время для каждого художника сказать какое-то свое слово о Христе, к евангельским повествованиям Матвея, Марка, Луки, Иоанна прибавить свой рассказ о своей встрече с Тем, Кто к своим пришел, хотя свои Его не узнали. Всякий художник вынуждается ныне силою вещей стать Евангелистом“.

Разбор ряда, хотя бы литературных, произведений в Европе и в России за последние десятилетия мог бы это с непререкаемостью удостоверить. Именно такое положение дел предвидел и приветствовал автор «Философии Общего Дела», ссылаясь на евангелие Иоанна, эту литургию, в которой уже нет вознесения, а даже поощряется продолжение бесконечного евангелия. („Суть же и ина многа, яже сотвори Иисус, яже аще бы по единому писана быша, ни самому, мню, всему миру вместити пишемых книг“—от Иоанна XXI,25—I,346).

Конечно, наглядное воспроизведение Образа Воскресителя и Спасителя мира есть задача, требующая от художника особого напряжения духа, особой концентрации творческих сил. Можно утверждать, что в плане подобного задания резко колеблется то привычное, компромиссное, неустойчивое равновесие между сознанием и бессознательным, каким еще удовлетворяется художник на низших ступенях творчески пресознательного акта. Здесь требуется более интимное проникновение обостренного, изощренного сознания в тайники и недра темной психики. Иначе говоря, здесь уже не обойтись без полного „вхождения ума в сердце“, без усвоения опыта подвижнического умного делания.

Подвиг искусства здесь встречается с искусством подвига и в конечном счете только прочность этой встречи предопределяет формы и нормы того, что мы называли религиозной организацией искусства, наметив исход из угрожающей катастрофической, „апокалиптической“ эпохи, и указав пути гармонического объединения человечества. Стоящие на стеклянном море поют песнь Моисея, человека Божия (песнь исхода) и песнь Агнца. Художественное воспроизведение образа Сына Человеческого неизбежно переливается за грань отделяющую (в аполлонического типа искусстве) воображение от воплощения. Образ этот всегда воплощается, а не только воображается: он становится в каждом, кто Его вкусил и принял, ядром внутренней жизни, стремящемся затем к соответствующему пересозданию и всей внешней органической и космической среды.

Из всего сказанного следует, что ни художественное, ни, тем паче, научное объединение человечества неосуществимо, и просто непредставимо без некоторой священной цели, без центрального „образа образов“, без устремительного „во Имя“. Жестоко, значит, ошибаются те, кто серьезно думает, будто психически возможно практически для работников науки сначала сорганизоваться, сговориться о текущей работе, а потом уже на досуге наметить руководящие цели и пути дальнейшего.

Все факты опыта уполномачивают на утверждение обратного характера, который и будет прямым ответом на второй из вышепоставленных вопросов Н. Ф. Федорова, то-есть: хотя наука, несомненно, в на-

ше время доросла до необходимости иметь центр и органы повсеместно, но такая централизованная организация не в состоянии будет ни сформироваться, ни удержаться без священной цели воскрешения.

Принятие или отвержение этой цели такова дилемма представившая, как христианской так равно и нехристианской половинам человечества в XX веке, христианской эры. Эта бозотлагательная необходимость немедленного выбора есть самая характерная черта того острого кризиса сознания и кризиса жизни, в полосе которого мы в данное время находимся. Окажется ли он в конце концов кризисом роста, или же предвестьем окончательного распада и гибели, — это должны выяснить ближайшие десятилетия.

ПРИМЕЧАНИЯ.

К стр. 5-й, к строке 16 сверху, после слова „невозможно“ (1,3).

1) 1928 год, год столетия со дня рождения Н. Ф. Федорова и двадцатипятилетия со дня его смерти, ознаменован во первых новыми толками о разоружении (в связи с проектом советской делегации на Женевской Конференции), во-вторых первым серьезным продвижением в деле овладения грозовой энергией атмосферы. Мы имеем в виду интереснейший опыт, проделанный тремя берлинскими учеными—физиками: Брашем, Ланге и Урбаном. Решившись, наконец, выйти из стен своих кабинетов и лабораторий, эти ученые „принуждены были начать с того места на котором остановился 150 лет тому назад Франклин“. И вот первый же шаг по этому пути дал потрясающие результаты. Когда в Лугано (Швейцария) между двумя вершинами горы Монте-Женероза был натянут тросс длиной в 2200 футов, идущий параллельно земле на высоте 260 футов, с прикрепленной к нему металлической сеткой для улавливания электричества из воздуха, то оказалось, что без особых затруднений, без помощи каких либо машин, удалось получить напряжения в 1,7 миллиона вольт, т. е. превышающее самые большие напряжения, достигнутые промышленной техникой. Удалось, так сказать, пленить молнию, поскольку искры не проявляли непостоянства молний, но регулярно проскакивали каждую секунду. О перспективах, вытекающих отсюда, говорить не приходится. По словам проф. Кирхберга (Германия) здесь „делается гигантский шаг вперед на пути к разоружению атома, т. е. такому перевороту по сравнению с которым изобретение паровой машины и динамо-машины кажется детской игрой“.

Этой детской игрой прозанимались ученые в течении тех 150 лет какие минули с момента Франклинова открытия. Между тем вот, что еще в 1814 году писал Каразин: „Если опыт, как надеюсь я, совершенно утвердит мое предположение о низведении электричества с верхних слоев атмосферы, то будет приобретено новое орудие, которым человек донныне не владел. Вода, воздух, огонь, мышцы животных, тяжесть и расширение некоторых тел суть до сих пор те силы, которыми управляя мы действуем в машинах. Рассудите, какие новые последствия окажутся, если мы завладеем массой электрической силы в атмосфере рас-сеянной, если мы будем в состоянии располагать ею по своей воле“... „Все дело лишь в том, чтобы достигнуть до ее хранилища и устроить канал для проведения ее на то или другое употребление. Но хранилище сие суть верхние слои атмосферы, каналом может служить всякая металлическая проволока“. Записка Каразина была препровождена на рассмотрение Академии Наук и подверглась критике академика Николая Фусса, нашедшего, „более нежели сомнительным большую часть приведенных Каразиным предположений, которые притом все суть только гипотезы и ничем не доказаны“. Посему 20.000 рублей необходимые по мнению Каразина на производство опыта „были бы истрачены напрасно“, заключил Фусс. Хотя на этом заключении и имеется неизвестно кем сделанная карандашом заметка: „недалеко Россия шагнет с такими Фуссами“, однако мнение Фусса восторжествовало, проект Каразина остался непроведенным на опыте, а между тем, замечает Федоров, „незадолго до того на одну серную кислоту для аппарата Лепниха, обещавшего построить воздушный корабль, способный вместить в себе нужное число людей и снарядов для взорвания всех крепостей и истребления величайших армий было ассигновано 40.000 рублей“. Причина понятна: „гипотезы и проекты в той области к которой относятся планы Каразина внушают слишком мало доверия, возбуждают слишком много сомнений в людях занятых торгово-промышленной и вообще городской суетой, которая держит людей в розни“... „Для того, чтобы в проектах, подобных Каразинскому, выискивалось бы только ценное, а ошибки и недосмотры исправлялись бы самим делом, нужно постигнуть всю важность предмета“, но по словам Каразина, „важность предмета не может быть вполне постигнута постоянными городскими жителями и цехом журнальных критиков“ (II, 277).

Предельная мечта горожан хорошо выражена в фантазии Брюсовского города, закутавшего „шар земной, как в чешую в сверкающие стекла“ (подобие

иллюзионистического „хрустального свода“). За этими стеклами укрыться от непогоды, гроз и ливней, фабрикуя пищу в химической реторте, выше этого горожанина с трудом способен что-либо представить. Между тем вся жизнь вселенной, по словам Н. Ф. Федорова, как она рисуется не раздваивающему взору „есть непрерывная гроза и буря разной напряженности, потому что сила вселенной, есть сила еще не регулируемая. Изучать природу, значит отыскивать способ разоружения грозовой силы и обращения ее из разрушительной в воссоздательную“... „Без такого обращения, — эта сила разрушающая все и себя разрушит: само солнце и все солнца есть грозное облако, которое разрушится вместе с последней молнией“ (II, 256).

К стр. 8, к строке 14 снизу, после слов „созидания (или восстановления) тела“.

1) Курьевым неумением вдуматься в сущность проблемы звучит поэтому иногда высказываемое „опасение“, что оживление умерших может свестись к материализации „астральных трупов“, одержимых чуждыми и злыми сущностями, к заселению мира „двойниками-вампирами“. Отсутствие взаимознания, неумение узнать авать (родных, близких, любимых) есть результат бациллия лю б в и („боящийся не совершен в любви“). Вообще вампиризм, двойничество и интерес к ним (как психологическое состояние) теснейшим образом связаны с нездоровой сексуальностью, с кастрационным и Эдиповым комплексом. Корни этих переживаний уходят в глубокую древность. Для испорченного (падшего) сына отец является соперником, мстителем (за „мать“) и погребение обертывается уже не начатком воскрешения, не делом любви, а делом страха: тогда поставить над умершим памятник, значит водрузить „камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог“. Так отнеслись и книжники к погребению Христа, но иначе чувствовали женщины, возлившие миро. В силу биполярности индивидуума в глубине каждого сына скрыта дочь человеческая (привязанная к отцу), за Эдипом стоит Антигона. Страх только вытесненное желание. Без знания себя и взаимознания, конечно, немислимо иное воскрешение кроме обманного и самообманного, практикуемого в медиумизме всех видов. Психология „опасающихся“, т. е. способных представить себе только воскрешение гнева и страха, а не воскрешение любви, очевидно безнадежно погружена в собственные (и „чужие“) душевные потемки, что является результатом какой-нибудь „инфантильной травмы“. Излишне пояснять, что в полной осознанности общего дела, исключаящей все невольное и бессознательное не может быть и речи о чем либо похожем на медиумизм и одержание. Возможность появления мутных (двоющихся, не проясненных) образов даже в окружении воссоздаемой плоти отпадает при условии атмосферической и космической регуляции, очищающей и высветляющей всю зеркальность фона, принципиально не допускающей „магического“ разъединения „миров“ и „планов“.